

Hans F.K. Günther.

# Mein Eindruck von Adolf Hitler

Ганс Ф.К. Гюнтер

# Мои впечатления об Адольфе Гитлере

\*

Перевод с немецкого А. Кирсанова

19  69

Franz von Bebenburg Verlag Pähl



Издательство Белобог  
Москва, 2013

УДК 82–94  
Г99

Г99 Гюнтер Г. Ф. К.

Мои впечатления об Адольфе Гитлере / Ганс Фридрих Карл Гюнтер; перевод с немецкого Анатолия Кирсанова. — М.: Издательство «Белобог», 2013. — 272 с.

ISBN 5–7150–0350–4

**У вас в руках во многих отношениях редкая книга!**

Это последняя работа выдающегося немецкого мыслителя, последнего рыцаря национальной расовой школы\*.

Это еще и дневник его личной судьбы. По сути — это свет, исходящий из первоисточника, освещающий ту ушедшую эпоху, которая еще долго будет будоражить умы людей. Вышедшие на русском языке книги Ганса Гюнтера быстро раскупались с прилавков магазинов, а некоторые переиздавались несколько раз.

Настоящее издание дополнено также работой Фридриха Кристиана цу Шамбург-Липпе «А был ли Гитлер диктатором?»

\* Термин раса ни когда не изымался из обихода даже в советский период. А всегда использовался учеными в области антропологии, археологии и т.п.

УДК 82–94

ISBN 5–7150–0350–4

© Белобог, 2013.  
© Перевод, А. Кирсанов, 2013.

## Предисловие издателя

Настоящее произведение появилось зимой 1967–1968 годов. Это последний труд автора. Книга уже была набрана, первые пробные наборы отправлены автору, обработаны, откорректированы и дополнены им, когда 25 мая 1968 года профессор д-р Ганс Фридрих Карл Гюнтер неожиданно скончался. До последних своих часов он работал над этим трудом. В его специальной папке находились многочисленные дополнения, которые он хотел включить в пробный набор книги; эти дополнения содержатся в данной книге.

Это произведение, вероятно, приближает к нам Адольфа Гитлера как человека, таким, как его видел и на собственном опыте узнал профессор Ганс Ф. К. Гюнтер; однако тут происходит еще и кое-что большее. Автор рассказывает также и о своей собственной жизни. Так, помимо собственно темы книги, здесь появилась еще и биография самого Гюнтера, его рассказ о своей судьбе. Но прежде всего тут возникла исповедь человека с ярко выраженной индивидуальностью, человека, превыше всего ставившего свободу, — полное душевных сил признание, которое по прохождении роковых десятилетий нашей истории сияет нам особенно сильно. И так как это признание мужчины, который во времена масс и массовых вождей глубоко осознавал в себе свой долг перед наивысшими ценностями, я прилагаю к этому произведению его изображение.

Барон Франц Карл фон Бебенбург  
Пасха 1969 года

Ганс Ф.К. Гюнтер

---

**Мои впечатления  
об Адольфе Гитлере**

*Тот, кто зависит от заблуждений несведущей массы, не принадлежит к числу великих мужей.*

*Цицерон*

## **1.**

О неудачной в существенных своих элементах внутренней политике Адольфа Гитлера — неудачной также потому, что Гитлер ввиду недостаточного знания людей подобрал в число своих подчиненных так много неспособных, нечистых, недобросовестных личностей, — об этой внутренней политике я не мог и не хотел высказываться публично, пока американские и английские исследователи не опубликовали прежде засекреченные документы, доступа к которым не было у немецких ученых и которые в настолько существенной мере сняли обвинения с внешней политики Гитлера, что в 1965 году один английский друг написал мне, что у него сложилось впечатление, что в исключительную вину Гитлера в войне теперь верят только лишь в Германии. Точно так же после выхода в 1965 году английской книги о норвежце Видкуне Квислинге только лишь в Германии верят в то, что Квислинг, мол, был предателем, «квислингом». Мне еще доведется вернуться к этому замечательному норвежцу.

О в существенной степени ошибочной и неудачной внутренней политике Гитлера я уже высказывался в предисловии ко второму изданию моей книги «Крестьянская вера: Свидетельства о вере и благочестии немецких крестьян» (1965), но еще больше в предисловии к четвертому изданию «Наследования и окружающей среды» (1967), так как эта книга уже с первого ее издания (1936) должна

была стать определенным предостережением для Гитлера и НСДАП. Тогда я — еще довольно наивно — считал, что благоприятные случаи могли бы способствовать тому, чтобы на такие предостережения обратили внимание.

Об Адольфе Гитлере как человеке, таким, каким он представлялся мне, я смог открыто высказываться только после того, как иностранные исследования, основанные на соответствующих документах, выразили свои возражения против преисполненных ненависти «приговоров» о Гитлере, «величайшем военном преступнике всех времен», «единственном виновнике». Так я только сегодня (1968) пытаюсь описать публично, каким показался мне Гитлер, какое впечатление произвел на меня человек Гитлер, и хочу говорить только о тех сторонах его существа, которые были повернуты ко мне. Потому я не хочу и не могу выносить о Гитлере какой бы то ни было «общий приговор», и не буду касаться Гитлера как государственного деятеля и, как некоторые провозглашали, Гитлера как полководца, либо коснусь этого только кратко, если не смогу избежать того, что при рассмотрении его как человека также некоторый свет прольется на него и как на государственного деятеля. В самом начале я хотел бы сразу сказать, что мое впечатление о человеке Гитлере было неблагоприятным, но при этом мне нужно отметить, что это впечатление было только моим впечатлением, так же, как я даю понять, что Гитлер согласно своему духовному предположению *должен был* быть именно таким, каким он был: «Таким ты должен быть, тебе не сбежать от себя» (Гёте). Но то же самое осознание неизменности унаследованных основных черт я могу привести также и в мою пользу.

Я очень хорошо знаю, что другим людям Гитлер казался совсем иным, некоторым существенно более позитивным, некоторым, которые, впрочем, не были призваны и не были

способны для вынесения оценки, он представлялся чистым дьяволом во плоти. Я прошу читателей четко помнить об одном: то, что будет рассказано в дальнейшем, — это не более чем или едва ли более чем *мои впечатления*. И этими своими впечатлениями я не хочу опровергать впечатления других людей, но должен в то же время спросить тех, кто, возможно, усомнится в моих впечатлениях или отвергнет их, откуда у меня могли появиться какие-либо другие впечатления, кроме моих собственных. Тем не менее, при этом я хотел бы уже в самом начале подчеркнуть, что многие из поставленных в вину фюреру обстоятельств и происшествий, в том числе и «окончательное решение еврейского вопроса», стали известны мне, как и подавляющему большинству немцев, лишь в 1945 году и позже — к сожалению, тем не менее, это было связано с планами «перевоспитания», смешавшего правду с ложью. Итак, мое «впечатление» отражает *только* то, что я узнал до смерти Гитлера, и о чем я помню еще сегодня. Из этих воспоминаний я попытаюсь сделать выводы, чтобы оценить место Гитлера в истории его эпохи, так как я ретроспективно вижу эти события с позиций сегодняшнего дня.

То, что я систематизирую эти впечатления только сегодня (1968), объясняется не только снятием иностранными исследованиями вины с Гитлера, но и в гораздо большей степени тем, что с 1945 года и до сегодняшнего дня для меня не было возможно, а также не будет возможно и впредь присоединиться к известным и особенно распространенным среди немцев несостоятельным поношениям в адрес Гитлера. Какой пусть даже только наполовину приличный человек захотел бы примкнуть к тем, которые до Сталинграда громко восхваляли Гитлера как «величайшего полководца всех времен», но после

Сталинграда сначала тише, затем все более внятно высказывались в духе: «Я всегда говорил...», а после 1945 года с провокационными криками также и перед «победоносными» иностранцами уже проклинали Гитлера как «величайшего вонного преступника всех времен»?

Так и я тоже не смог заставить себя ни в концентрационном лагере, в котором я провел три года и двадцать дней, ни перед комиссией по денацификации произнести что-то, что могло бы хоть как-то быть понято как отмежевание от Гитлера или НСДАП, и потому я молчал в лагере, когда товарищи по лагерю позитивно говорили о Гитлере и НСДАП, товарищи по лагерю, которых я благодаря моей лучшей компетенции мог бы поправить. Я молчал перед комиссией по денацификации также и о том, что НСДАП в лице достойного презрения Мартина Бормана — которого выбрал, однако, сам Гитлер — запретила мне и издательству одну написанную мной и уже набранную книгу. Борман сделал так, что три высоких партийных чиновника, ходатайствующих перед ним в мою пользу, получили три по-разному обоснованных отказа. Тогда профессор Вальтер Гросс, руководитель Расово-политического управления, который тщетно выступал в мою защиту, написал мне, что у него сложилось впечатление, что я не учел того, что мы живем в диктатуре, «настоящего диктатора», которой зовут Мартин Борман.

Но тогда другие — которых не просили об этом ни моя жена, ни я, — принялись отправлять в комиссию по денацификации оправдывающие меня свидетельства — их в то время называли *Persilscheine*<sup>1</sup>, свидетельства, из которых следовало, что я сразу после «захвата власти» отвернулся

<sup>1</sup> Это слово, происходящее от названия стирального порошка «Персил», буквально означало «свидетельство об очистке» — *прим. перев.*

от НСДАП и частей гитлеровской внутренней полиции. Бывшие студенты свидетельствовали, что на моих лекциях и коллоквиумах всегда отчетливо можно было понять, что я четко различал «национал-социалистическое» и «национальное»<sup>2</sup>. «Национальным» для меня всегда было и осталось то опирающееся на элиту (аристократическое) воззрение, которое ищет средства, чтобы коренным образом обновить народный дух свободных людей, опираясь на их наследственные предпосылки.

«Национал-социалистическое», однако, после 1932 года ускоренно превращалось в опирающееся на массу (охлакратическое) «движение», которое либо «унифицировало» национальные союзы, либо совсем запрещало их. В 1935 или в 1936 году некая высокая инстанция попросила меня больше не использовать слово «национальное», которое якобы не любил «фюрер», а только лишь «национал-социалистическое». Я отказался от этого, тем более что для меня — тогда в Берлине — различие обоих воззрений стало еще очевиднее, чем во время «захвата власти». Но студенты заметили, что я различал эти понятия, и сообщили об этом, как и о другом, комиссии по денацификации.

Я не буду здесь перечислять свидетельства — о которых я не просил, — доказывающие мою помощь преследуемым, в том числе и преследуемым евреям, тем более что я забыл о некоторых из них, упомяну как пример только «свидетельство в пользу защиты» моего берлинского коллеги Эдуарда Шпрангера, сообщившего о том, как я помогал подвергавшемуся преследованиям и наказаниям коллеге из Йенского университета Гансу Ляйзегангу. В таких случаях я в большинстве случаев обращался к честному имперскому мини-

<sup>2</sup> Национально-народное, по-немецки *völkisch* — *прим. перев.*

стру Фрику, который был достойным исключением среди подобранных Гитлером высших чиновников.

Я упомяну здесь лишь свидетельство выдающегося Вильгельма Хартнакке, к личности которого я еще вернусь, сообщившего комиссии по денацификации, что уже за несколько лет до начала войны, когда он и я при встрече в Дрездене обсуждали ситуацию в Рейхе и в НСДАП и выражали при этом наш ужас из-за выбора и карьерного продвижения столь многих нечистых, безответственных и неспособных людей, я уже подумывал об эмиграции. Правдивость воспоминания Хартнакке подтвердила мне примерно год назад одна дама, знакомая моей жены и нашей семьи, мужа которой, высокопоставленного библиотечного служащего, я смог спасти от преследования благодаря одному должностному лицу НСДАП: я уже перед войной спрашивал у нее, как я, будучи чиновником, мог бы устроить так, чтобы выйти досрочно в отставку, а затем эмигрировать с семьей в Норвегию, на родину моей жены. Она, по ее словам, ответила, что по опыту ее мужа это было бы возможно только в том случае, если бы врач дал мне свидетельство о душевном расстройстве; но врача, который решился бы на такое, я не нашел бы. Таким образом, я должен был остаться здоровым в душевном плане.

Присланные письма в мою защиту и тщательная проверка всех моих книг побудили комиссию по денацификации в третьей инстанции — обычно хватало только двух — вынести решение, согласно которому я всегда действовал в рамках международной науки и никогда не включался в антисемитскую травлю; потому также не было никакого повода запрещать мне, «лицу, подвергнувшемуся рассмотрению», писательскую деятельность. Но произошедшее в 1945 году мое увольнение из университета оставалось в силе вопреки

оправдательному приговору — оправдательному приговору после трех лет интернирования, — так как я, мол, «недостаточно» протестовал; такой приговор вынесли исключительно те судьи, которые, как я узнал позже, сами никогда не протестовали. *Risum teneatis, amici?* (*Удержитесь ли вы от смеха, друзья?*)

На третий год моего заключения — к слову, в одном из наихудших лагерей — французские офицеры собирали у соседей арестантов информацию, не были ли эти арестанты членами НСДАП. В моем случае эта информация оказалась благоприятной за одним исключением; я никогда не носил партийный значок и никогда не приветствовал никого возгласом «Хайль Гитлер!». (Это приветствие стало возможным только из-за того, что фамилия Гитлера была редкой: «Хайль Мюллер!», «Хайль Майер!» или многосложное «Хайль Обербихлер!» было бы невозможным.)

Исключением был сосед, с которым я любезно общался, когда мы встретили друг друга. Он был председателем пацифистского объединения, которое было запрещено. Он рассказал французским офицерам, что в моей квартире якобы находился фотоснимок, на котором моя семья запечатлена вместе с Гитлером. Так как в Sûreté (французская контрразведка) работали лагерники с хорошим знанием языка — немецкое усердие, немецкая основательность там высоко ценились, — я узнал, что один из офицеров на это сказал: «Я же все-таки не сумасшедший, чтобы передавать дальше такие сведения». Позже я узнал, что Sûreté, которая на основе накопившихся за три года сведений должна была давать оценку поведения каждого арестанта, меня, несмотря на то что я был однажды наказан тремя днями ареста за «хищение сельскохозяйственных продуктов с поля» (несколько помидоров), оценила меня благожелательно, хоть

и с благоприятным в такой ситуации дополнением «*il est un peu fou*» (он немного ненормальный). Так несколько странностей, которые я позволил себе для перерыва трехлетней монотонности, способствовали снятию с меня вины, а возможно, также и то обстоятельство, что наш комендант лагеря был в ссоре с руководителем Sûreté. Ссоры такого рода были возможны не только в гитлеровской Германии. Мое своеобразие, с улыбкой подмеченное французской контрразведкой, может также частично объяснить то, что Гитлер как человек представлялся мне странным, иногда даже отталкивающим — именно потому, что он был неизменно расположен именно так, а я столь же неизменно был расположен совсем по-другому.

Некоторые события, из которых можно было бы сделать выводы о человеке Гитлере и его внутренней политике, стерлись или почти стерлись из моей памяти. Но что моя память удержала точнее всего, это то, как я — еще с юности стараясь придавать моим мыслям уместную форму, т.е. передавать то, что французы называют *le mot propre*, — на протяжении тех лет высказывался перед другими людьми о Гитлере и национал-социализме, кое-что, впрочем, только в доверенном кругу. Я могу полностью поручиться за точность передачи этих своих оценок. Если они время от времени принимали сатирическую форму, то я должен признать свою ответственность за эту склонность к сатире. Однажды учитель истории во время урока в шестом или седьмом классе, рассказывая нам об исторических событиях, заметил на моем лице улыбку, позволившую ему сделать вывод о моем насмешливом взгляде на события, о которых он говорил. Он прервался: «Гюнтер, запомните: *difficile est, satiram non scribere*» («тяжело не писать сатиру»). Вы еще сможете навлечь на себя кое-какие неприятности в своей жизни». К сожалению, этот учитель оказался прав.

Но именно хорошая память, которая сохранила мои слова о Гитлере и о национал-социализме, предохранила меня от того, чтобы постфактум примешать к предыдущему то, что я узнал позднее, прежде всего после 1945 года, как заподозрил, к моему удивлению, один мой знакомый, в котором я предполагал лучшее понимание сути моего своеобразия. Однажды я, полагаясь на наше долговременное знакомство, письменно представил ему мои возражения против Гитлера и национал-социализма. Он в ответ тоже письменно спросил меня, не хочу ли я с такими замечаниями постфактум «вписаться» еще и в ряды «Сопrotивления». Этот печальный опыт побуждает меня подчеркнуть здесь точность моей памяти, что касается моих собственных высказываний. Но я все же, чтобы не подвергать себя упрекам в тяге к клевете или несправедливости, умолчу здесь о самых злых из моих отзывов о Гитлере и НСДАП, несмотря на то что я и сегодня, если лишить их насмешливой формы, считаю их содержание правильным, более того, именно сегодня я считаю его даже еще более правильным. Но справедливость требует заметить, что Гай Луцилий, Персий, Ювенал, Петроний или даже Джонатан Свифт в событиях и ситуациях мировой политики с 1919 по 1945 годы нашли бы куда меньше материала для сатиры, чем в событиях и процессах, последовавших после 1945 года.

Чтобы четче показать сегодняшней молодежи неизвестные или неправильно представленные ей подоплеку политических событий с 1919 года, я вынужден буду в дальнейшем снова и снова вводить объяснения, которые я прошу понимать не как излишние отступления.



Имя Гитлера я услышал в первый раз, пожалуй, в 1921 или 1922 году в Бреслау, где я занимался «Расологией Европы» (первое издание вышло в 1925 году). Я в этом городе время от времени встречался с редактором большой социал-демократической газеты, евреем, очень умным мужчиной с превосходным чувством юмора. Я обязан ему знанием некоторых едких восточно-еврейских анекдотов. Мы не делали друг от друга тайны из наших различных, даже противоположных воззрений, но наслаждались обоюдной склонностью к сатире в наших беседах, в которых редактор не щадил своих некоторых менее одаренных социал-демократических товарищей. Редактор, похоже, уже давно больше не придерживавшийся иудаизма, — если он вообще был воспитан в таком духе — и я сталкивались друг с другом также и в определенном вольнодумстве, он — если использовать для этого обозначения из истории новой философии — со стороны агностических или позитивистских воззрений, я — как неокантианец (Виндельбанд, Риккерт). Он почитал своего университетского преподавателя профессора Макса Вебера из Гейдельберга; его любимым писателем был ирландский социалист Бернارد Шоу. Наши беседы происходили в большинстве случаев над позволяющей шутки поверхностью, так как мы оба знали, что в глубине резко расходимся. В моих занятиях вопросами учения о расах (антропологией) — в то время Теодор Моллизон возглавлял в университете Бреслау кафедру антропологии — редактор, вероятно, с благосклонной снисходительностью видел безвредную забаву. Я позже от одной знакомой нам обоим дамы узнал, что он, когда разговор однажды

зашел о человеческих расах на нашей планете, заявил ей, что все на всей Земле должно смешаться друг с другом.

Насколько я помню, было только два случая, когда редактор утратил свою невозмутимость остроумного насмешника. Я тогда прочитал работы шведского социолога Рудольфа Челлена, в том числе те, которые предлагали «профессионально-сословные народные представительства» для государств Европы. Об этом я сообщил редактору и спросил его о том, не стоило ли предпочесть такие представительства, в которые каждое профессиональное сословие посылало бы своих выбранных представителей, также и потому, что подавляющее большинство избирателей выбирали все же ту партию, от которой они ожидали наибольшей пользы для своего дохода. Редактор тут же ответил с полной серьезностью: «Где же тогда останутся демагоги?»

В другой раз я заявил ему, что не могу понять, что социализм возможен только как международная группа и что он должен действовать согласно лозунгу: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Фердинанд Лассаль и Фридрих Науман ведь выступали на стороне национального социализма, оба были даже за социализм монархический. И, кажется, чего-то подобного желал и человек по имени Гитлер в Мюнхене. Редактор немедленно и с большой серьезностью обрушился с ответом: «Не слушайте его! Он дурак». Я спросил себя, почему же редактора в обоих этих случаях покинула его обычная насмешливая снисходительность. Мне, наверное, стоило бы все же послушать того дурака и постараться составить о нем собственное мнение.

### 3.

Но до этого тогда не дошло; в 1923 году я переселился в Норвегию и женился на норвежке в ее родном городе Шинене, столице провинции Телемарк. С нею я познакомился, когда она была студенткой консерватории в Дрездене. Таким образом, я, не будучи и в Норвегии, как и в Германии, подписчиком газеты, слышал о Гитлере только время от времени из газетных сообщений, позже в Швеции из шведских газет. Мне бросилось в глаза, что как раз социалистические газеты писали о Гитлере пренебрежительно как о «каменщике-подмастерье», как будто бы одаренные люди не могли выйти из рабочего сословия.

9 ноября 1923 года в Мюнхене в пивном зале «Бюргербройкеллер» дошло до выступления, о котором сообщали норвежские газеты — насколько я помню, частично с недоумением, частично с неприязнью и частично с насмешкой в адрес таких политических ситуаций. Перед возбужденным собранием фон Карр, фон Лоссов и Зайсер обсуждали на сцене внутривнутриполитическое положение, отказ Баварии от скатывающейся к гражданской войне империи, когда Гитлер, почувствовав себя обманутым этими тремя совещающимися лицами, выпрыгнул сбоку на сцену с пистолетом в руке, выстрелил в потолок и захватил в свои руки зал, где шло заседание. Я, опираясь на газеты, считал это происшествие неприятным, и норвежцам, спрашивавшим меня об этом, объяснял с сожаляющей улыбкой, что положение в нынешней Германии теперь благодаря Версальскому договору и последующему обращению с Германией со стороны других держав дошло до того, что нам, немцам, приходится постепенно привыкать к «пистолетной политике»

центральноамериканских и южноамериканских государств. Такие события едва ли можно было научиться понимать из Скандинавии.

В 1925 году моя жена и я переехали в Упсалу (Швеция), после того как меня пригласил туда Государственный институт расовой биологии для чтения ряда лекций и для временного сотрудничества. Так я познакомился с Упсалой и с институтом, в котором были представлены специальные журналы на эту тему на различных языках со всего мира — уникальный шанс для дальнейшего образования. В 1927 году, когда владелец нашей меблированной квартиры в Упсале, шведский офицер с семьей, снова переехал в нее, мы переселились на остров Лидингё близ Стокгольма. Однако оттуда я снова и снова посещал Государственный институт в Упсале.

Как в Норвегии, так и в Швеции, тогда еще странах, в которых дул жизненный воздух германской свободы, свободы для отдельных людей, я чувствовал себя как дома, так же дома, как в Германии до 1919 года. *Ubi bene, ibi patria!* — «Где хорошо, там родина!»

То, что я брал с собой за границу как неотъемлемое имущество, как свою внутреннюю родину, была немецкая духовная жизнь, величие которой — если рассматривать ее вершины в искусствах и в философии, — даже ее несоизмеримость вплоть до начала двадцатого столетия, я при всей высокой оценке французского духа сначала прочувствовал в Париже, и которая стала для меня тем дорожке теперь, после потери внешней родины из-за чуждой и странной для меня государственной жизни Веймарской республики. Мою норвежскую жену, которая превыше всего ставила немецкую музыку, я теперь мог — также опираясь на высокую духовную жизнь северогерманской, прежде всего исланд-

ско-норвежской древности, — ввести в эту мою внутреннюю родину. Я ожидал от национальной мысли обновления этого немецкого духа с его германских корней — тоже ради восстановления внешней родины. Я из Скандинавии приравнивал эту национальную мысль к национал-социализму, антинациональный, а именно опирающийся на массы (охлакратический) дух которого я начал постепенно распознавать только с 1930 года.

Теперь я почти каждый год ездил к моему издателю Юлиусу Фридриху Леману в Мюнхене, немолодому господину, гордившемуся тем, что он как гражданское лицо, хорошо зная улицы города, во главе швабских солдат сквозь ружейный огонь проник в «красный» Мюнхен, из которого затем швабы и другие войска после уличных боев выгнали революционеров. При поездках туда и обратно я каждый раз останавливался в Заалеке близ Кёзена, в доме архитектора Пауля Шульце-Наумбурга, который еще в своих письмах в Упсалу приглашал меня к себе и с которым меня скоро связала дружба.

В этом доме, чем-то вроде помещичьего дома с парками над рекой Заале, время от времени бывал также и Гитлер в качестве гостя, но все же это никогда не случалось в моем присутствии. Я там бегло познакомился с молодым Бальдуrom фон Ширахом, которого Шульце-Наумбург называл кем-то вроде «любимчика Гитлера», позже для более тесного знакомства я в доме своего друга познакомился также и с Рихардом Вальтером Дарре; еще позже, когда я уже преподавал в Йене, время от времени встречался там со сначала только тюрингским, позднее с имперским министром доктором Вильгельмом Фриком. Дарре был воодушевлен идеей «крови и почвы», над которой после 1945 года не насмехались бы так несерьезно, если бы глупым насмешникам

было известно ее американское соответствие *the blood and the land nexus*.

В доме Шульце-Наумбурга мне по случаю удавалось кое-что узнать о Гитлере, которого в течение этих лет его партия все больше прославляла как великого вождя. То, что я там узнал, не привлекало и не отталкивало меня. Все ж, я, как и Шульце-Наумбург, хотел бы услышать от Гитлера обещание воплощения национальных идей, которые связывали меня с Шульце-Наумбургом. То, что мы понимали под «национальным», я уже пытался объяснить выше.

НСДАП никогда не привлекала меня, не привлекала уже даже просто как партия, так как я издавна считал любое партийное существование пошлым и политику Европы с 1919 грязной. Только отдельные люди всегда привлекали меня, но большие группы никогда: «Присоединяйся лишь к самой маленькой толпе!» (Гёте)

Но еще я из-за моего пребывания в Норвегии и Швеции и при моем пристрастии к обособленной (индивидуалистической) сущности многих тогдашних скандинавов избегал мыслей о вступлении в партию. Всякое «компактное большинство» претило мне так же, как норвежцу Ибсену. Среди героев Ибсена меня все время привлекал отпавший от веры пастор Росмер на Росмерсхольме. То, что я узнавал о событиях в Германии, в Штутгарте, в Упсале и в Лидинге, внушало мне опасения по отношению ко всем немецким партиям, а также по отношению к Гитлеру — при сохраняющейся надежде на то, что Гитлер помимо необходимой обороны от коммунизма, который для меня означал полное уничтожение всякой свободы отдельного человека, будет преследовать все же в конце концов и национальные цели.

Во время одного из повторяющихся каждый год пребываний в доме издателя Ю.Ф. Лемана в Мюнхене — это

могло быть в 1928 году — мы с издателем шли от Гроссхеселое, где он жил, вдоль берега Изара, когда речь зашла о Гитлере, которого мы обычно очень мало касались в наших беседах. Издатель, немолодой человек с большими заслугами для национального дела, в частности, в исследовании наследственности (генетика, евгеника), рассказал, что он, узнав о том, что Гитлер вызвал из Южной Америки для руководства его СА (штурмовиками) Эрнста Рёма, немецкого офицера мировой войны, написал Гитлеру, что располагает точными сведениями о Рёме и поэтому должен срочно предостеречь Гитлера от выбора этого человека. Тут Ю.Ф. Леман остановился, посмотрел на меня и после паузы сказал, что Гитлер ответил ему или поручил ему ответить, что, мол, он, Ю.Ф. Леман, не должен вмешиваться в такие дела. «Что вы об этом скажете?» — спросил Леман. Я уже не помню, как я ответил, однако знаю, что сказал себе, что так ответить заслуженному пожилому господину мог только некультурный грубиян.

Эта беседа на берегу Изара, насколько я помню, едва ли повлияла на мое впечатление или на предварительное впечатление об Адольфе Гитлере. Тот, кто, как я тогда, въезжал из Скандинавии в Германию, должен был быстро привыкать к всеобщей грубости. Империя находилась под угрозой самого дикого коммунизма, и взаимные партийные провокации втягивали население в ежедневные акты насилия — вспомните хотя бы о «Союзе Спартака». Взаимные поношения, в Скандинавии тогда еще очень редкие, в Германии не были исключением. Наверняка в ту пору в Германии не один только Адольф Гитлер грубо отвергал предостережения и предупреждения старых джентльменов.

В 1929 году мировой экономической кризис начал трясти валютные рынки всех стран. Рост безработицы и

обеднение людей стали его последствием. Оборот книготорговли тоже упал. Мои доходы от продажи книг быстро уменьшались; мы больше не могли жить в Швеции. Так что я со своей семьей покинул эту любимую мною страну, как раньше Норвегию, и двинулся в Дрезден. Вильгельм Хартнакке, руководитель стоявшего на необычайно высоком уровне школьного образования в Дрездене, написал мне, что он попытается добиться для меня половины штатной должности учителя в одной дрезденской школе, чтобы я мог быть свободен для моих собственных работ. Это удалось ему даже так, что у меня была перспектива на получение половины соответствующей пенсии.

#### 4.

Но как раз в это время, в январе 1930 года, в Тюрингии было образовано правительство из нескольких партий, в том числе НСДАП, в которое в качестве министра внутренних дел и образования вошел доктор Вильгельм Фрик. Мой мюнхенский издатель вскоре после этого написал мне, что его посетил исследователь наследственности (евгеник) Альфред Плётц, за несколько лет до того опубликовавший труд по социальной антропологии, и посоветовал ему обратиться к Фрику, который мог бы теперь воспользоваться случаем и создать кафедру социальной антропологии в Йенском университете и пригласить меня туда. Так дело дошло до моего назначения в Йенский университет, кото-

рому воспротивилось большинство сената. Рассердившись из-за такого сопротивления, Фрик принял решение, на что он имел право, пригласить меня не как внештатного, а сразу как штатного профессора.

Как случилось со мной в Йене, так происходило позже в Берлине и во Фрайбурге-в-Брайсгау: многие профессора боялись, что теперь в их коллегиях был направлен, мол, какой-то партийно-политический фанатик, вероятно, даже антисемит. Но я тогда еще не был членом ни одной партии и в своей академической деятельности никогда не смешивал науку с политикой. Так что тревоги моих коллег в Йене, как позже в Берлине и Фрайбурге, быстро успокоились, и я могу сказать, что вскоре нашел среди моих коллег дружескую любезность. Но враждебно настроенная пресса долго не могла успокоиться. Именно из-за этой и прочей травли в 1932 году посланный из-за границы коммунист на ночной дороге несколько раз выстрелил в меня, из этих пуль одна, направленная в сердце, ранила меня в левое плечо, а другие пролетели справа и слева у моей головы. Молодой преступник, когда я подскочил к нему, убежал в темноту и на бегу выбросил пистолет.

В начале зимнего семестра в 1930 году была объявлена моя лекция по случаю вступления в должность, что снова с живостью заинтересовало прессу. Я ждал начала лекции в комнате ректора, когда, совершенно неожиданно для меня, в комнату провели Адольфа Гитлера. Я после речи по случаю вступления в должность узнал, что это министр Фрик пригласил Гитлера присутствовать на лекции. Встреча эта внутренне была для меня очень большой неожиданностью, но внешне я никак не подал виду.

Гитлер подошел ко мне, протянул руку и, как я помню, грубым голосом, внимательно глядя на меня, сказал: «Я так

рад, что вас пригласили сюда». Я поклонился с благодарностью. Затем последовали еще несколько предложений, которые я уже не могу вспомнить. Я знаю лишь то, что, пока Гитлер произносил свои короткие фразы, я задумался, как мне лучше всего ответить. Впрочем, такие размышления прервались, так как один из служащих университета пригласил Гитлера в зал. Я был предоставлен некоторое время самому себе и моему «первому впечатлению».

Первое, что мне бросилось в глаза (я сразу отметил) в Гитлере: взгляд замечательного разума из больших голубых глаз (необыкновенно умный взгляд больших голубых глаз) и в то же время суровая грубость его голоса. Но вторым немедленно возникшим ощущением было неопровержимое: между этим человеком и мной никогда нельзя будет навести мост понимания. У меня было ощущение человека, который по своему предрасположению не мог относиться к другому иначе, как к по всей своей сути удивляющему, и я сразу хотел бы признаться, что я никогда не изжил у себя это удивление — я говорю об удивлении, не об антипатии. (не поняла) Чувствовал ли Гитлер тогда по отношению ко мне такое же удивление, я не знаю, но по своим более поздним впечатлениям предполагаю, что люди вроде меня не могли быть для него чем-то большим чем, как максимум, фигурами на его шахматной доске. Но кто хотел бы упрекнуть его за это?

Гитлер был, вероятно, так же разочарован моей речью по случаю вступления в должность, как и появившаяся в большом количестве враждебная пресса, которая заполнила зал, в то время как для Гитлера было определено место среди профессоров на поднимающихся вверх, как в амфитеатре, ярусах по обе стороны от меня и позади меня. Моя речь по случаю вступления в должность разъясняла зада-

ния социальной антропологии — так был назван мой предмет в Йене по предложению Плётца. Какая-либо «пропаганда», к которой я вообще не был расположен, была бы в такой речи явным ляпсусом. Но и ожидаемого враждебной прессой антисемитизма тоже не следовало было ожидать от меня. Потому сообщения в печати оказались краткими и вялыми. «Берлинер Тагеблатт» («Берлинская ежедневная газета») написала несколько незначительных строк, однако добавила: «Нужно сказать одно: фрак сидел безупречно». Эту рекламу я послал своему портному к его самой большой радости.

Сразу после речи по случаю вступления в должность Гитлер уехал под крики «Хайль!» населением. Для трапезы в маленьком кругу в отеле «Цум Бэрен» («У медведя») неожиданно появился Геринг. Он в мундире сидел за столом напротив меня, говорил со мной — я уже не помню о чем — с явным самодовольством и благосклонностью высокого покровителя. Но потом хозяин гостиницы попросил его выступить перед собравшейся у отеля небольшой группой жителей Йены, которые хотели услышать его. Польщенный Геринг прервал обед и через окно на лестнице вышел на навес отеля, приветствуемый ликованием. Когда он снова пришел к столу, то сиял от сознания своей популярности. Впрочем, на этом хватит о нем, достойным способом избежавшем смерти через повешение!

Примерно в 1942 году во Фрайбурге некоторые из моих лекций посещал коллега-историк из одного университета в Северной Германии, которому должны были во Фрайбурге сделать операцию (поздние последствия ранения на Первой мировой войне). Когда этот коллега из-за переполненности клиник был для дальнейшего выздоровления переведен в отель, я посещал его, лежавшего в гостиничной кровати. В

одной беседе коллега спросил меня, какие впечатления я получил о Гитлере. Я рассказал ему о встрече в Йене, которую теперь отделяло уже десять лет, и подчеркнул ощущение, что между мной и Гитлером невозможно взаимное понимание. Коллега подумал, а потом сказал: «Это очень странно, так как точно то же рассказал мне скульптор Климш, а ведь он же совсем другой человек, чем вы». Очевидно, коллега хотел этим выразить, что, возможно, целый ряд людей от Климша до меня чувствовали по отношению к Гитлеру одно и то же.

Я познакомился приблизительно в 1952 году с этим скульптором, о котором, впрочем, мне уже давно всегда с большим уважением говорил мой друг Шульце-Наумбург. Фриц Климш, пострадав от бомбежек, жил в южном Шварцвальде, очень любезный старый господин с франконской интонацией и действительно совсем не такой как я. Мы немедленно нашли общий язык. Мы не говорили о Гитлере, больше о падении изобразительных искусств до неприличия. Искусства современности, пав жертвой эпохи упадка, полностью отвернулись от достоинства человека. К ним можно применить слово из «афоризмов» Марии фон Эбнер-Эшенбах: «Искусство находится в упадке, когда от изображения страсти оно обращается к изображению порока».

Климш рассказал только о Геббельсе, которого он, вероятно, отвергал как политика, но по отношению к Климшу Геббельс проявил себя с самой лучшей стороны, когда он в Зальцбурге осматривал созданные Климшем гипсовые проекты памятника Моцарту, на который Гитлер дал заказ скульптору. Гитлеру делает честь, что он ценил искусство Климша, искусство, которое еще показывало достоинство человека. Зальцбургские гипсовые фигуры были в 1945

году использованы американскими солдатами как мишени. Климш умер через несколько лет после нашей беседы. Я не забуду этого значительного художника и умного, доброжелательного человека.

Голос Гитлера как выражение его сущности занимал меня долгие годы, пока я не нашел слово, которое обозначало мое впечатление. Случай к этому представился где-то в 1936 или 1937 году в Берлине на празднике Первого мая. Гитлер любил, как я привык еще с Йены, в своих первомайских речах к радости менее одаренных и необразованных людей набрасываться с нападка на образованных людей, на тех, кого в Баварии называют «большими шишками», и на «реакционеров».

Неопытные студенты уже во время моего пребывания в Йене восприняли такие первые нападки и называли негодных им профессоров «бестиями мозга»; дети в Гитлерюгенде называли нелюбимых ими стариков «кладбищенскими овощами». Дети и молодые люди быстро понимают, к чему могут употребляться политические лозунги. Манера говорить сегодняшних «демонстрирующих» студентов — это отнюдь не что-то новое. Политизация незрелых людей, раннее надевание шор, которым сегодня занимаются фанатично и со лъстящими словами, начались в Германии уже с национал-социализма.

В годы моего университетского преподавания как раз более умные среди студентов, как бы много едкой критики о людях и обстоятельствах они ни позволяли себе среди себе подобных, удивлялись тому, что они по завершении 21 года жизни должны были стать «совершеннолетними», потому что в таком возрасте готовыми в психическом и духовном плане могут быть только более глупые и неспособные к созреванию. Для более умных из каждого ответа на навязыва-

ющиеся вопросы жизни немедленно возникает следующий узел вопросов. Поэтому более умные люди швабского племени говорят о «швабском возрасте», в который люди входят только с сороковым годом жизни. Государство, следующее добрым советам, присуждало бы *toga virilis*<sup>3</sup> только возрасту тридцати лет.

В майской речи, к которой члены Берлинского университета были, как и другие организации, союзы, менее и более унифицированные группы, выстроены вдоль широких берлинских улиц под динамиками, Гитлер снова буйствовал против образованных людей и реакционеров, однако на этот раз пренебрежительно сказал о том, что эти люди больше не могут угрожать его государству, так как — и теперь последовала вырвавшаяся жестким, суровым голосом фраза — «Мы отберем у них их детей!» Я сильно испугался, но овладел собой и свободно сказал стоящему рядом коллеге: «Тогда у этих кругов просто больше не будет детей». На оставшемся неподвижным лице коллеги я, как мне показалось, увидел подавленность и скорбь. Гитлер имел в виду не похищение детей, так наверняка никто не воспринял его слова, но то, что Гитлерюгенд должен обучать детей таким образом, чтобы они не поддавались влиянию реакционных родителей.

В другой день я купил номер газеты «Фёлькишер Беобахтер». (Я сам выписывал также из-за удобного формата «Штеглицер Анцайгер»; глубоко почитаемый мною коллега Вернер Зомбарт — «Дас Эхо фом Груневальд»). Фраза, испугавшая меня, отсутствовала в публикации майской речи, очевидно, убранный разумным и осторожным редактором. Но я с тех пор все время вспоминал эту фра-

3 «Тогу зрелости» древних римлян — прим. перев.

зу и прежде всего голос, которым она была произнесена, и теперь я нашел также слово для голоса Гитлера: он звучал безжалостно или же мог при определенных случаях звучать безжалостно.

Только около полугода назад я получил подтверждение: я правильно услышал ту фразу. Одна дама, которая тогда жила в Берлине и слышала майскую речь, сообщила мне в спокойной беседе о Гитлере, что она тоже была объята ужасом и возмущена теми жестко произнесенными словами.

Я очень хорошо знаю, что другие люди иначе воспринимали суровый голос Гитлера, но по-прежнему считаю: возможность такой беспощадности — по меньшей мере в публичной речи — принадлежит к образу человека Адольфа Гитлера.

## 5.

Мое следующее непосредственное впечатление об Адольфе Гитлере после речи по случаю вступления в должность с начала зимнего семестра в 1930/31 году я получил, когда в 1931 или в 1932 году Гитлер однажды в первой половине дня произнес в Веймарском национальном театре речь, на которую мы приехали с женой из Йены. Перед битком набитым залом театра Гитлер разъяснял цели своей партии. Часто, но все время более высоким тоном повторявшаяся основная мысль его речи состояла в том, что национализм и социализм нужно связать друг с другом. Он при этом все время одной рукой со сжатым кулаком двигал впереди

над головой навстречу другой руке со сжатым кулаком, так что кулаки под давлением касались друг друга. Один кулак должен был означать национализм, а другой социализм. Веймарские слушатели, может быть, были настроены более националистически, чем социалистически, потому их нельзя было быстро воодушевить или тем более разжечь. Гитлер прекратил повышать голос и повторял потом только умеренно, потом снова усиливая одни и те же высказывания с похожими или другими словами и выражениями.

Тогда мне уже давно были известны работы француза Густава Лебона, особенно его книга о сущности массы: *Психология масс* (первое издание вышло в 1895 году). Лебон пришел к выводу, что массы преимущественно можно было бы завоевать:

1) *утверждениями ясными и простыми,*

2) *повторениями,* что массы из-за доказательства утверждений только скучали бы и наконец, стали бы безучастными.

Для Гитлера самым важным было — таким было мое впечатление от его речи — в Веймаре из круга его слушателей, из множества отдельных людей образовать *массу*, которая досталась бы ему, и это как раз удалось ему *повторением* со все более сильным повышением тона.

Когда, наконец, разразилось то, что тогда, а порой еще и сегодня, называют «бесконечными аплодисментами», он замолчал и покинул сцену под эти овации.

Представляющий социализм кулак Гитлера смог повлиять, пожалуй, на мой разум, но не на мой нрав; на мой разум, так как я, как каждый разумный человек, после 1918 года вынужден был сказать себе, что в любом индустриализируемом и урбанизируемом населении социализм будет неизбежен; и если этот социализм окажется «национальным», то тем лучше!



В мои школьные годы, в возрасте где-то 17–18 лет, социализм притягивал меня. Любого увлеченного в духовном плане молодого человека в таком возрасте привлекает все, что обещает «революцию». Но я на моей баденской родине не мог заметить тогда никаких признаков того социализма, который Освальд Шпенглер позднее с одобрением описал в своем труде «Пруссачество и социализм». Только в последнее время я прочита, между тем, что такого шпенглеровского социализма не было и в самой Пруссии тоже. В Бадене у социализма 1905–1910 годов — по крайней мере, для меня — были черты злобной мелкобуржуазности, неприязни, выражающейся почти исключительно в отрицаниях, досаде и зависти. Также над самыми безобидными проявлениями патриотизма тут с презрительно искривленным ртом насмеялись как над «урпатриотизмом». Революционным, как я хотел представлять это себе, это не являлось. Наконец, мои социалистические порывы исчезли. Несмотря на то что я, как студент, подробно занимался национальным социализмом Фердинанда Лассалья, Гитлер с его веймарской речью, которая, должен признаться, показалась мне довольно скучной, завоевал согласие только моего разума, озабоченного ситуацией и угрозой коммунизма, но тем не менее не моего нрава.

Но тут у меня возникает вопрос, может ли, вправе ли и способен ли вообще человек моего предрасположения судить о красноречии Гитлера. На эту тему есть следующее соображение: много лет назад я прочитал у Плутарха биографию афинянина Фокиона, политика и полководца позднего периода Афин, которого население, уже ставшее массой, переносило с неудовольствием, но во времена опасности снова и снова выбирало его в руководители. Когда однажды Фокион с трибуны, на которой сидели рядом с ним друзья, обратился к народному собранию, его прервали

окации. Он удивленно обернулся к друзьям и спросил: «Я сказал что-то не так?» Кто может так же, как я, наслаждаться такой историей, тот в эпоху упадка, вроде нашей, не подходит для государственной должности, но также и едва ли подходит для того, чтобы судить об ораторском таланте Гитлера.

Теперь я должен, как многие другие тогда и позже, все же спросить себя: что произошло бы с Германией, если бы такие ораторы, как Гитлер и Геббельс, не призвали городские массы к борьбе против кроваво буйствующего со времен «Союза Спартака» коммунизма? Сталин послал бы под защитой танков своего наместника в Берлин, его армии стояли бы на берегу Ла-Манша. Для людей моего типа, которые пытались бы беспокоить политиков нелепыми вопросами вкуса, у сталинских комиссаров нашлось бы простое средство в виде выстрела в затылок.

После речи стоявшие ближе к НСДАП слушатели, в том числе и моя — к моей радости совершенно аполитичная — жена и я, несмотря на то, что мы оба не были членами НСДАП, собрались в одном отеле в Веймаре. Я, когда вошел, сначала искал места у длинного стола, которые были определены для моей жены и для меня, нашел их и перебрался парой слов с несколькими другими приглашенными, но затем мой взгляд упал на другую сторону зала. Там за большим круглым столом сидел в полном одиночестве Адольф Гитлер. Я считал это непростительной ошибкой «протокола», то есть свиты Гитлера, и объяснил моей жене, что что-то в этом роде не должно было происходить, поэтому я хочу до начала трапезы подсесть к Гитлеру. Так и произошло: я перешел к круглому столу, вежливо поприветствовал Гитлера, обменялся с ним несколькими словами и сел, наконец, по собственной инициативе напротив него. Мы немного поговорили друг с

другом, он говорил несколько рассеянно и монотонно, я же, как и при «первом впечатлении», напряженно обдумывал, что я должен говорить в ответ на его слова. Я больше не помню подробностей; положение это было для меня, вынужденного думать быстро, довольно неловким. Однако я думаю, что внешне я справился с ситуацией и ничего не упустил из надлежащей вежливости. Наконец, к Гитлеру подошел один человек из его свиты и сказал ему несколько слов, которые я не понял. Интерес Гитлера к этому сопровождающему был столь же мал, как и интерес ко мне. Зато я смог воспользоваться случаем, чтобы попрощаться.

Был ли Гитлер еще под воздействием собственной речи? Может быть, он все еще думал, что он мог бы выступить иначе, более эффектно?

На противоположной стороне зала, поблизости от предназначенных для нас с женой мест, я неожиданно натолкнулся на Геббельса. Я уже не помню, были ли мы уже представлены друг другу или я представился ему лишь тогда, в зале. Во всяком случае мы поговорили друг с другом, причем сразу же с оживленным взаимным вниманием; также мы быстро нашли общий язык в шуточных замечаниях. Для меня Геббельс, демагог, уже в Швеции был неприятен именно в этом качестве; но в Геббельсе как человеке я нашел любезного, ловкого и интересного собеседника, нашел его таким, несмотря на то, что его ответы на мои как можно более безобидные вопросы о целях НСДАП мне совсем не нравились. Когда принесли еду, мы любезно распрощались. Я после этого никогда больше не встречал его; при этом я был убежден, что Геббельс отвергал меня как антрополога или по меньшей мере в чем-то подозревал.

По словам Вольтера, есть только один невыносимый жанр, скучный, *le genre ennuyeux*. К такому жанру Геббельс

наверняка не принадлежал. Но он все-таки остался для меня отвратительным как демагог. Я очень долгое время больше не мог избавиться от образа сидящего в одиночку за столом Гитлера. Насколько я мог узнать после трапезы — как воспитанный человек я не мог во время еды оглядываться на Гитлера — между Гитлером и его свитой, а также между ним и другими людьми не было никакого настоящего «соприкосновения». Но Гитлер вскоре после еды быстро ушел, в то время как мы, другие, покидали отель только постепенно. Эта встреча была последней, о которой я должен сообщить, не считая очень мимолетной встречи в 1935 году, о чем я еще упомяну.

Так что мне приходилось опираться на наблюдения других, встречавших его, или на случайные кадры киножурнала «Вохеншау» и на фотоснимки Гитлера, как и на его речи, которые я слышал по радио. Но все вместе создало в итоге у меня впечатление, которое я пытался в доверенном кругу сформулировать таким образом: «Он, пожалуй, может быть человеком; но близким человеком — нет». — Сомнение в том, что он был человеком, я просил бы приписать моей досадной склонности к сатире; что же касается сомнений в том, что Гитлер мог бы быть близким, то я придерживался их — по крайней мере, для меня — больше двух десятилетий, до тех пор, пока свидетельства двух военачальников, часто и долго говоривших с Гитлером и потому имевших возможность понять его душевную сущность, не дали мне подтверждений для моего впечатления.

Я случайно нашел эти свидетельства в газетах, переписал их, но, к сожалению, потерял эти записи. Они исходили от генерал-полковников Лотара Рендулича и Гейнца Гудериана и описывали изолированность Гитлера по отношению к другим людям, которая сегодня в большинстве случаев описы-

вается как «слабость в контактах». Гитлер не сближался ни с кем; вокруг него, как писал Рендулич, была как бы нейтральная полоса, как вокруг Цезаря и Наполеона. (С этой оценкой Цезаря, знатока людей, я не могу согласиться, она противоречит сообщениям римских современников о привлекательной любезности Цезаря в обращении с людьми, о его *urbanitas* и *comitas* (учтивости и доброжелательности). Гудериан, как мне помнится, писал, что у Гитлера не было друга, которому бы он доверял, и ни одна женщина, видимо, тоже не сближалась с ним; он всегда занимал изолированное положение, через обособление которого никто не мог проникнуть. К этой оценке присоединился, после того как он неоднократно в кругу художников сталкивался с Гитлером и говорил с ним, умерший скульптор Вильгельм Танк, который в одном журнале писал так: «Моим первым впечатлением было впечатление об одиночке, проникновение в которого было для меня невозможно, так что мне пришлось анализировать его как чужое существо». Скульптору, опытному в понимании основных черт людей по их фигурам и лицам, показалось тоже самое, что и мне. В присланном мне письме Танк сообщил, что Гитлер был для него загадкой. Что-то вроде неспособности быть близким я, впрочем, ощутил в нем уже в Веймаре.

Если на других людей Гитлер производил не такое впечатление, если такие люди называли его общительным или даже компанейским человеком, то боюсь, что должен предположить, что этим людям не была дана способность Танка, Рендулича или Гудериана понимать больше, чем лежит на поверхности или вообще проникать в глубину сущности таких людей, как Гитлер. Но я должен предоставить каждому читателю право решить, в полной ли мере такие люди, как Танк или я со своими впечатлениями, поняли Гитлера до конца.

Неспособностью Гитлера быть близким я хотел бы также объяснить одно предположение, которое я снова и снова чувствовал по отношению к Гитлеру. Я могу выразить его одним из категорических императивов Канта: Гитлер, по моему ощущению, всегда видел в другом человеке только средство, средство для своих политических целей, но при этом никогда не видел в нем цель. Но, по мысли Канта, я всегда должен обращаться с другим человеком также и как с целью, но никогда только как со средством; общение с другим человеком должно содействовать также и ему.

«Он, пожалуй, может быть человеком; но близким человеком — нет» — так я, вероятно, выразился бы в самом доверенном кругу и о Кальвине, об этом зловещем человеке, если бы мне довелось жить в его время в Женеве. По сообщениям его современников, я даже мог бы сомневаться в том, что Кальвин был когда-нибудь близким человеком для его жены Иделетты де Бюр. Иделетта, вероятно, могла переносить холодную изолированность этого судящего своих сограждан от имени своего ветхозаветного Бога реформатора только потому, что библейская религиозность требовала от нее в почтении любить такого возвышенного священника. О недостатке в теплоте контактов с людьми у Кальвина сообщают его жизнеописания, которые не задуманы для назидательности, — я могу назвать, например, книгу МакНейлла «Характер кальвинизма» (*The Character of Calvinism*), 1945.

По словам Ланге-Эйхбаума, Кальвин был «крайне шизоидным психопатом», он был «типом фанатика». И этот фанатизм тоже разоблачают его биографии, написанные не в поучительных целях. Его церковные постановления (*ordonnances ecclesiastiques*), изданные с 1541 по 1545 год и проведенные в жизнь с непреклонной строгостью, дают в

итоге полную ужаса картину женеvской теократии: денежные штрафы, ссылки, заключения в тюрьму, казни, наказания и мучения колдунов и ведьм и т.д. История насчитывает примерно триста казней, также казни детей, к которым приговаривал духовный суд под председательством Кальвина, только в 1561 году вынесший 17 смертных приговоров. Одному горожанину просверлили язык за злословие в адрес духовенства. Безвредные развлечения, вроде танцев, были запрещены. Шпионы наблюдали за горожанами; наказывали тех, также и детей, которые не посетили церковь в воскресенье или показались в церкви недостаточно почтительными. Из всего этого доподлинно известно, собственно, лишь сожжение благородного испанца Серведо, обвиненного в ереси, с которым еще раньше мерзко обходились в тюрьме. Однако реформатор Кальвин, когда Серведо находился в Лионе, донес тамошней папской инквизиции на него как на еретика.

При этом Кальвин рассматривал себя как инструмент Бога, как призванного и покорного исполнителя божественной правды и справедливости. Он был убежден, что еретиков следует казнить к славе Всемогущего. В одном письме, демонстрирующем его взгляды и понимание им самого себя, он, впрочем, жалуется однажды на «дикого зверя своего предрасположения». Он был, как писал Карл Ясперс, «вершиной того воплощения христианской нетерпимости, против которой нет ничего иного, кроме нетерпимости».

Впрочем, сравнение Гитлера с Кальвином не относится, собственно, к изображению моих впечатлений, потому что это сравнение возникло у меня только в пятидесятых годах, когда я занимался историей Реформации, то есть, после того, как я услышал достоверное о тех ужасах, которые произошли по распоряжениям или с попустительства Гит-

лера, в частности, об «окончательном решении еврейского вопроса». Поэтому здесь я тоже не сравниваю действия и преступления обеих этих личностей, а только свойственный им фанатизм. Но этот фанатизм был замечен мною еще у живого Гитлера, так же, как некоторым людям Гитлер еще «времени борьбы» представлялся одержимым. Я узнал позже, что Гитлер как оратор некоторым наблюдателям казался одержимым. Некоторое время тому назад вдова одного важного члена партии, которой довелось в ранний период НСДАП слышать и видеть Гитлера в Берлине вблизи на непубличных мероприятиях, сообщила мне, что она была объята ужасом от того, каким способом он подстрекал своих подчиненных — со свисающими на лоб склеившимися от пота волосами и с широко растопыренными пальцами. Так что она уже тогда оценивала Гитлера иначе, чем ее умерший позже муж. Следовательно, Гитлер уже в двадцатые годы, которые я провел в Норвегии и Швеции, на многих производил впечатление фанатика.

Если фанатик — это человек, который настолько помешался на своих нравственных, церковных или политических воззрениях, что больше даже в самой малой степени не может осознавать право на существование других воззрений, но зато рассматривает сомнения в его собственных воззрениях как злонамеренность или вражду, то Гитлера и в этом, так же, как в его преувеличенном осознании своей миссии, можно сравнить с Кальвином, от которого он отличался, тем не менее, в других чертах. Гитлер любил слово «фанатично» и часто произносил его публично с особой энергией. Так как я с юности прямо-таки ненавидел это слово и сам фанатизм рассматривал как по существу, согласно историческим свидетельствам, ближневосточное качество, во всяком случае, как исключительно ненемецкую эмоцию, я ужа-

сался всякий раз, когда, слушая радио, слышал это слово из уст Гитлера. Поэтому я также отчетливо помню, что Гитлер один или несколько раз после начала войны уверял в своей страстно трепетной речи: «Если я вернусь с этой войны, то только как еще более фанатичный национал-социалист». Я, пораженный, сказал жене: «Тогда я попрошу о досрочном выходе на пенсию, и мы эмигрируем в Норвегию или к гэлам в Северную Шотландию». Я ни в коем случае не хотел терпеть еще бешеный фанатизм. (Шульце-Наумбург показывал мне картины рыбацких поселков кельтских гэлов. Этих кельтов я хотел представлять себе как настроенных менее враждебно по отношению к немцам, чем шотландцев, а шотландцев, в свою очередь, как меньших германофобов, чем англичане).

Все же, с приведенными фанатичными словами было очевидно, что подготовленное с 1919 года принуждение к бытию масс, с 1933 года понимаемое как временное средство для восстановления порядка в Германии, с 1939 года — как необходимость на время войны, должно было продолжаться также и после победы немецких армий, продолжаться до предсказанного Джоном Стюартом Миллем и Гербертом Спенсером социалистического подавления свободы отдельного человека.

Так национал-социализм для Гитлера после 1933 года из средства для восстановления порядка превратился в самоцель. Одна дама, которая решила на что-то подобное еще в 1933 году, однажды спросила Гитлера, когда все же будет выполнен последний параграф программы партии, обещавший роспуск НСДАП после победы партии. Гитлер ответил ей не приветливо: «Еще много нужно сделать».

Фанатизм Гитлера, как некоторый другой фанатизм, связанный с преувеличенным осознанием своей миссии, почти не вырываясь наружу в его внешнеполитических, но

во многих внутривнутриполитических речах, как и в сопровождающих эти речи движениях рук и в его чертах лица, облегчил его внутривнутриполитическим и внешнеполитическим противникам, опиравшимся на киноленты и пластинки — часть их могла быть поддельной, — утверждения о том, что Гитлер был, мол, «типом фанатика», каковым называли и Кальвина. Но когда хоть какой-нибудь значительный немецкий государственный деятель или полководец, поэт или мыслитель был фанатичным? Употребляли ли немцы хоть когда-нибудь слово «фанатичный» в хвалебном смысле? Стиль речи Гитлера не был никогда «классическим» стилем Перикла, но всегда был стилем речи Клеона.

Если «классика», по словам Вольфганга Шадевальдта, это «аристократия духовного человечества, возвысившаяся до принципа формы», то мы живем в совершенно неклассическое время и таким образом стиль речи Гитлера тоже был неклассическим. Стиль высоко ценимого Гитлером, навязывающего себя слушателю преувеличениями Рихарда Вагнера является антипримером «классического» стиля — дистанцирующегося от слушателя на умеренное расстояние Виллибальда Глюка. Я упомяну только вступление к «Ифигении в Авлиде» Глюка. В сравнении с Глюком не только «произведения» современной «музыки», но и расхваленные прессой «произведения» всех жанров искусства — это недостойность, искажение, издевательство над человеческим достоинством, особенно над достоинством женского пола. Но неклассическим является после 1919 года в Европе и Северной Америке также и язык политики, так как он больше хочет не убеждать совершеннолетние народы, а уговаривать несовершеннолетние массы.

Являющиеся основой «классического» человеческого достоинства ценности всех индогерманских народов, такие

как самообладание, осмотрительность, рассудительность, не существовали для Гитлера, да, я боюсь, что обязан сказать, что он, как и подавляющее большинство современников презирал такие ценности. Внутриполитическое ораторство Гитлера было, как и у большинства современных ему политиков, ораторством преувеличения, увлекающим массы уговариванием, а не ораторством убеждения, как у Бисмарка, Мольтке или графа Шлиффена, преемника Мольтке. Преувеличение становилось узнаваемым также во внезапных приступах, в которых срывался его грубый голос. Если от Кальвина исходил холодный фанатизм презирающего людей мизантропа, то у Гитлера слышался фанатизм горячий, почти ближневосточный. Но здесь нужно сразу добавить: а смогло ли бы вообще воздействовать в наш век упадка, век городских масс красноречие Мольтке, Бисмарка или графа Шлиффена? Уже после 1918 года ни у Бисмарка, ни у Мольтке не было бы никаких шансов быть выбранными в парламент. С их времен население Средней Европы и Западной Европы было индустриализировано и урбанизировано. Гитлер и стиль его речи должны были приспособиться к этому населению. Если бы он попытался говорить «классически», то он смог бы собрать вокруг себя только «самую маленькую толпу» Гёте. Но как, однако, Гитлер смог бы спасти немецкий народ от фанатически настроенных в духе Ленина масс, не противопоставив этим массам свои фанатически настроенные уже им самим массы? Он видел в этом свою особую миссию.

Осознание своей миссии у Гитлера было ближневосточной силы. Он не боялся публично благодарить «провидение» за то, что оно в такой ситуации, какая сложилась в Германской империи, призвало его в качестве вождя. Это осознание миссии позволило ему добиться таких результа-

тов, которых не добился бы никто другой. Осознание своей миссии, кажется, проникало в расшатанного в духовном плане Гитлера также через «лекарства» — выбранного им самим лейб-медика.

Лейб-медик Гитлера: «Я в лагере для интернированных однажды вечером посетил одного солагерника, силезского графа примерно моего возраста. Тут в свою комнату возвращались несколько товарищей из команды, работавшей за пределами лагеря, и один из них рассказал, что в городе он прочитал в газете о том, что у Гитлера был личный врач; он назвал его имя, редкое в Германии, но, похоже, чаще встречающееся в Англии. Тогда граф ударил кулаком по столу и закричал: «Что, этот подлец! Он сделал мою жену сумасшедшей». Граф рассказал, что графиня, нервнобольная, отправилась в Берлин для лечения у этого врача, но его лекарство разрушило ее разум. Поэтому граф прервал лечение и перевел жену в лечебницу, из которой она была по прошествии довольно долгого времени выписана выздоровевшей. Я позже видел портрет этого врача<sup>4</sup>. Как Гитлер мог ежедневно терпеть такое лицо рядом с собой? Знание людей?»

Своим осознанием миссии почти восточной силы и своим фанатизмом Гитлер может напомнить Мухаммеда. Тот связал свой фанатизм и сознание миссии с хитрыми соображениями, свое воодушевление Аллахом, свою избранность — с непоколебимым чувством реальности и продуманной приспособляемостью к переменчивым внешним ситуациям, абсолютно убежденный в своем призвании и столь же убежденный в том, что другие люди могут ошибаться, но только не он.

---

4 Автор имеет в виду личного врача Гитлера доктора Теодора Мореля — *прим. перев.*

Между тем более подходящим представляется сравнение Гитлера с Оливером Кромвелем, тем более что Гитлер якобы рассматривал этого английского государственно-го деятеля и полководца как один из образцов для себя. Один одаренный писатель написал в честь Гитлера роман о римском диктаторе Сулле, другой одаренный, понимающий «знаки времени», написал роман о Кромвеле. Но тут я должен заявить о своей пристрастности по отношению к Кромвелю. Я никогда не обзывался выносить свой объективный приговор ему, также как приговор католическому королю из династии Стюартов, которого приговорил к смерти протестант Кромвель. Так что я могу позволить себе очень субъективно выразить свою симпатию и антипатию и должен признаться, что моя симпатия принадлежала и будет принадлежать королю Карлу I (1600–1649), а моя антипатия — лорду-протектору Кромвелю.

Король при полном отсутствии чувства реальности и шатких решениях не был значительным государственным деятелем и из-за своей податливости мнениям советчиков был еще и не совсем надежным, зато он всегда был благороден, вежлив, любил искусство, был добросовестен и нравственен и желал добра своему народу. Уже портрет короля, написанный Ван Дейком, может привлечь зрителя к этому любезному и благородному человеку.

Кромвель считал себя избранным Богом — Богом, который, однако, для обусловленного кальвинизмом благочестия англосаксов был в гораздо большей степени Богом Ветхого, нежели Богом Нового завета — избранным ради славы и растущей силы пуританско-протестантской Англии, которой надлежало добиться мирового господства. Когда в его письмах упоминается об ужасах, которые он приказывал и допускал в захватнических войнах против ка-

толиков-ирландцев, там всегда есть дополнение, что он-де совершал такое как служитель Бога. По мнению психиатра Ганса Фраймарка, Кромвель был истероэпилептиком. Так его осознание своей миссии может быть обозначено как патологическое, как исключение на европейской земле. Моя антипатия к этому набожному полководцу и политику усилилась, когда я в замке Уорвик увидел посмертную маску Кромвеля, лицо «избранного» грубого хулигана. Если правда, что Кромвель был образцом для Гитлера, то какие черты в сущности этого человека и какие из его политических успехов привлекали Гитлера? Казалась ли ему образцовой наблюдавшая за всем тайная полиция лорда-протектора? Считал ли он примером для себя подавление свободы печати, приказ о котором отдал Кромвель к огорчению своего государственного секретаря поэта Джона Мильтона?

Тем не менее я не хотел бы никого склонять безоговорочно принимать мою оценку этого английского государственного деятеля и полководца и поэтому рекомендую книгу, вышедшую в 1935 году, которая, вероятно, как может намекать ее подзаголовок «Четыре эссе о руководстве нации», должна была служить для Гитлера как утверждением, так и предостережением. Это книга Германа Онкена «Кромвель». Предостережением также и потому, что Онкен старался в ней представить Кромвеля как христианского политика и полководца. Он видит величие Кромвеля в том, что он взял под свою ответственность «народ, который, как он знал, был связан с Богом», а также и в командовании им «охваченной религиозным огнем армии». Онкен подчеркивает «библейское» благочестие Кромвеля, его приверженцев и его армии, благочестие, которое, опираясь на псалмы и пророков, было убеждено в том, что Царство Божие не придет ни к какому другому народу, кроме английского. Тут

Онкен не учел, что христианского политика и полководца все же можно видеть лишь в том, для кого настоящее христианство составляет Новый завет и прежде всего Нагорная проповедь. Я тем не менее рекомендую эту книгу 1935 года как противовес моей оценке.

## 6.

Как Муссолини, так и Гитлер имели пристрастие к Фридриху Ницше. Я никогда не понимал этого пристрастия Гитлера. Не прочитал ли Гитлер смертельные осуждения, которые Ницше — вероятно, после Герберта Спенсера — бросил против социализма? Знал ли Гитлер, что Ницше в социализме видел одно из самых больших зол мировой истории? Ницше, как Томас Джефферсон и как Вильгельм фон Гумбольдт, ради свободы отдельного человека желал «как можно меньше государства». От социализма он боялся законного принуждения со стороны «как можно большего государства». Однако вследствие этого государство для рожденных для настоящей свободы людей превращается, наконец, в «самого холодного из всех холодных чудовищ», удушающим честь отдельного человека механизмом для огосударствления человека. По Ницше любой социализм должен был начать «селекцию лучше всего подготовленной к рабству человеческой породы».

Лишенные отечества, готовые к перевороту молодые люди в Северной Америке и Европе уже сегодня называют такое состояние подданства *истэблишмент*, однако не осознают при этом, что каждое бюрократизированное го-

сударство сощобеспечения, даже космополитическое «всемирное государство», и тем более оно, должно стать како-либо рода *истэблишментом*, закатом самых последних остатков свободы отдельных людей.

Не читал ли Гитлер никогда язвительных выпадов, которые Ницше направлял против немецкой сущности? Пусть, по словам Альфреда Хохе, Ницше с 1883 года должен был считаться больным, с 1888 года душевнобольным. Но этого ведь Гитлер не мог знать, и большинство тех, кто описывает жизнь и мышление Ницше, тоже упускали это из виду. Ницше, воодушевленный ярко выраженным аристократом Феогнидом из Мегары, не мыслил, во всяком случае, пока был здоров, ни «национально», ни «социалистически». В чем же тогда состояла привлекательность Ницше для Муссолини и для Гитлера?

Гитлер поручил моему другу Шульце-Наумбургу построить «Архив Ницше» в Веймаре. В конце вестибюля поднималось — сделанное не Шульце-Наумбургом — скульптурное произведение в мраморе: восседающий на кресле, как полубог, Ницше с кустистыми усами. Для этого почитания Ницше со стороны национального социалиста не может быть другого объяснения, кроме того, что Гитлер претендовал для себя на значение и положение «сверхчеловека». Эта претензия была бы понятна, даже простительна, если можно было предположить, что Гитлер был душевно испорчен проявленным к нему уважением, поклонением, в котором принимали участие также иностранцы и иностранки. Каждый диктатор будет подвержен опасности видеть в самом себе кого-то по образцу эллинистического властителя как *soter* (спаситель) или по образцу многих цезарей *divinus* (божественный) на востоке Римской империи как *kyrios* (господин в религиозном смысле). Так это останется, пре-



жде всего, в катящейся к упадку эпохе масс. Никогда еще *vestigia terrent* («следы устрашают»), исторический опыт, не отпугивал людей.

Не чувствовал ли Гитлер в себе отвращение от преподносимого им его окружением и массами прославления? Терпел ли он только низкопоклонство хвалящих его транспарантов или даже принимал его за чистую монету? Понимал ли он такие надписи и приветствия как надлежащие знаки почитания для «сверхчеловека»?

К майским праздникам 1935 или 1936 года Берлинскому университету было предписано маршировать по улицам к Темпельхофскому полю, чтобы слушать там майскую речь Гитлера. Ночью выпал снег, склеившийся в густую массу глубиной от 5 до 10 сантиметров, по которой мы должны были шагать — не в самом лучшем майском настроении — по улицам. Рядом со мной шел один более молодой, высокоодаренный доцент, превосходный человек, известный мне как восторженный национал-социалист, пример людей тех лет рождения, которые на половину поколения или на целое поколение были моложе Гитлера и меня. Национал-социализм большей частью захватил их умы больше, чем умы людей более старших, возраста самого Гитлера. Этот доцент как офицер прошел французскую кампанию, неоднократно был ранен и описал это в прекрасной книге. Он, кажется, позже погиб в России.

Над нашим маршрутом к Темпельхофскому полю висели транспаранты, в большинстве совсем безвкусного вида. Мой взгляд упал на ленту с надписью «Фюрер, приказывай! Мы последуем за тобой», ленту, которую часто вешали и тогда, и позже. Я сказал доценту, идущему возле меня, указывая на надпись: «Тацит сказал бы: *ruere in servitium* (броситься в рабство)». Следующий лозунг зву-

чал: «Ты — ничто, твой народ — все». Я сказал: «С 70 миллионами «ничто» мало чего можно будет добиться». Доцент каждый раз смущенно улыбался и молчал. Я считал его, однако, достаточно умным, чтобы в душе согласиться с моей правотой.

Выносил ли вкус Гитлера такие надписи? Принимал ли он их или даже сам их желал? Предложил ли он сам гитлеровское приветствие или только терпел его? Представлялась ли ему слепая и отказывающаяся от собственного мнения преданность бездарных или эгоистичных людей в его окружении как «верная преданность»? Требовал ли он после 1932 года от всех нас такой «верной преданности»? Не вызывало ли никогда у него отвращение то, что после смерти Сталина было названо «культом личности»?

Если в наш век падения может сохраниться история на высоте Фукидида или Ранке, если она не падет жертвой какой-то вытекающей из соответствующего политического мнения социологии, политологии или психоанализа или какой-нибудь другой самонадеянной дерзости, то она, когда фальшивые свидетельства об этом будут отвергнуты и правдивые свидетельства проверены, должна будет также обратиться к вопросу: был ли преисполненный сознанием своей миссии, ведомый фанатизмом, окруженный бездумной преданностью Гитлер после 1932 года, наконец, прикончен этим опьянением властью? Решился ли он по отношению к неспособным к своему мнению и слепо покорным людям в своем окружении, наконец, на короткие приказы: *hoc volo, sic jubeo; sit pro ratione voluntas* («Так я хочу, так я велю, и пусть доводом будет моя воля» — Ювенал!) Если да, то с какого времени? Если нет, то некоторые его слова и действия трудно будет объяснить. Историография в духе Фукидида и Ранке должна будет спросить: как долго Гит-

лер больше думал о народе и империи и с какого времени он думал больше о своей власти? На этот вопрос, даже если найдется достаточно много надежных свидетельств, вряд ли можно будет ответить, так как Гитлер рассматривал свою неограниченную власть как необходимость для находящейся под угрозой империи и для притесняемого с 1919 года иностранными государствами немецкого народа.

Был ли Гитлер, так же, как некоторые другие предрасположенные к властности политики до и после него, окруженный покорными людьми без собственного мнения, после 1933 года испорчен своей диктаторской властью? Тацит считал так — и несправедливо — о Тиберии: *vi dominationis convulsus et mutatus* (сошел с пути благодетели и испортился). По моим впечатлениям описываемая в дальнейшем пролетарская «воля» стала отчетливее проявляться в чертах лица Гитлера только после 1933 года.

Задавая этот вопрос, я сознаю, что в нашем веке масс существует распространенная потребность в ведущем к всеобщему благосостоянию, лишаящем права на самостоятельное определение своей судьбы «сильном руководстве», и что каждая ставшая слишком сильной партия снова введет, даже в приказном порядке то, что называли «культом личности».

Я уже упоминал, что Гитлер отказался от понятия и от слова «национальное» («фёлькиш»). Он использовал или терпел национальные идеи до 1933 года, чтобы включить национальные группы в свою партию, в 1933 году он либо запретил национальные группы, либо «унифицировал» их и уже вскоре после того слышал слово «национальное» только с большой неохотой. Этот отказ от совокупности национальных идей совершился, как мне кажется, одновременно с обращением к обычной политике с позиции силы всех

иностранных государств, к политике, которую, однако, как раз и осуждали национально мыслящие, так как они требовали права самоопределения для всех народов в пределах их языковых границ. Для этих национально мыслящих переуступка заселенных немцами окраин Богемии, Моравии и Силезии (октябрь 1938 года) была самоочевидностью в соответствии с провозглашенным американским президентом Вудро Вильсоном в 1918 году, но использованным тогда только против Германской империи правом всех народов на самоопределение. Присоединение же «Рейхспротектората» Богемии (чехи) и Моравии (словаки) в марте 1939 года было, однако, очевидным внешнеполитическим отказом от любой национальной политики и воспринималось так не только мной, а и многими национально настроенными членами партии, как я мог заметить из их частично испуганных, частично возмущенных суждений. Был ли Гитлер вынужден вступить в Чехословакию из-за планов русских по вторжению туда, я судить не берусь. Я тогда начал бы рассматривать его как политика, тогда как у меня тут речь идет о Гитлере как о человеке. Но я уверен, что внешняя политика Гитлера, начиная с этих лет, стала обычной и, с точки зрения национально мыслящих немцев, устаревшей политикой с позиции силы, такой же, как у других государств, то есть обыкновенным ненациональным «империализмом». Следовательно, человек Гитлер до 1933 года рассматривал слово «национальное» как средство для достижения его цели, но никогда не связывал с ним своих внутривнутриполитических или внешнеполитических целей. Однако этот окончательный поворот от национального может в то же время расцениваться как примета того, с какого времени Гитлер как «сверхчеловек» поддался желанию внутривнутриполитической и внешнеполитической власти. С тех пор он больше не от-

личался от других «империалистических» государственных деятелей.

Полностью ошибочным я считаю объяснение сути Гитлера его происхождением из среды мелкой буржуазии, происхождением, которым часто пытались объяснить его «манию величия». С 1945 года у нас стало модным упрекать в мелкобуржуазности неугодного или выдаваемого за неугодного человека. Так как теперь кое-кто из настоящих мелких буржуа боится такого оскорбления, он пытается лучше стать фальшивым «левым радикалом». Гитлер не характеризовался и провинциальностью, но — по меньшей мере став взрослым — был в полном смысле человеком мегаполиса. Одна государственная актриса, которая говорила с Гитлером, вполне расположенная к нему как к политику, в разговоре со мной назвала Гитлера по его человеческим чертам человеком богемы. Я считаю эту характеристику правильнее других, услышанных и прочитанных мною. Неоднократно подчеркивалось и «непруссачество» Гитлера, его «австрийскость» в меньшей мере и в большинстве случаев только в связи с тем, что он якобы создавал свою партию по образцу католической церкви.

Тем не менее эти вопросы — как и некоторые другие, рассмотрение которых мною, вероятно, хотел бы увидеть здесь тот или иной читатель, — лежат вне круга моих «впечатлений» о человеке Адольфе Гитлере, из-за чего я не хотел бы высказываться на эту тему. Все же я заподозрил бы католическую «австрийскость» у Гитлера, когда он попытался объединить протестантские группы, различающиеся их религиозными учениями, в одну имперскую церковь, дать этой церкви папу и заключить конкордат с таким папой, как он заключил раньше — вопреки национальному духу — конкордат с Папой Римским. Он нашел

для этого — вызывающего у меня сожаление — одного военного священника посредственных человеческих качеств и призвал его как имперского епископа — в НСДАП эту должность обозначили сокращением *Reibi*<sup>5</sup>. После этого Гитлеру, некомпетентному в сути немецкого протестантизма, пришлось пережить то, что этот самый *Reibi* остался без имперской церкви. За такими неловкими, даже смешными процессами и за последовавшей ссорой с обеими церквями я мог наблюдать только от случая к случаю, неохотно, с большой дистанции и с «одним плачущим, другим смеющимся глазом» (Гамлет). Описание церковного спора за неимением Луцилия, Персия, Ювенала и Петрония следовало бы предоставить профессиональному богослову вроде Джонатана Свифта (1667–1745). Для такого Джонатана Свифта материал для сатиры предоставили бы также и те неверующие, которые «обратились в христианство» из ненависти к Гитлеру и национал-социализму — обратились, однако, с пренебрежением к Евангелию от Матфея, глава 5, стихи 39–44. Большое количество материала для веселого изображения дали бы Свифту также «Немецкие христиане», который возбужденно и вызывающе, как *nebi'im* Ветхого Завета, провозглашали своего «арийского Иисуса».

По моим впечатлениям, Гитлер был представителем богемы в том отношении, что такие сформированные мегаполисом, совершенно некрестьянские по духу люди лишены корней и нигде не могут эти корни ухватить. Замену родине Гитлер нашел в своей партии. Государственным деятелям, которые хотят создать что-то долговечное, происхождение из среды зажиточного крестьянства или крупных землевладельцев всегда идет на пользу. Они, по словам Бисмарка,

5 От *Reichsbischof*, автор говорит о Людвиге Мюллере — прим. перев.

также никогда не будут пытаться заставить плоды созреть побыстрее, поставив под деревом керосиновую лампу. Нетерпение, спешка и опрометчивость, частично из-за политической ситуации, были основными ошибками Гитлера как человека и политика. Как мелкобуржуазное свойство можно рассматривать, вероятно, то, что люди «из низшего положения», попав во власть, «теряют голову» скорее, чем люди «лучшего» происхождения.

## 7.

Читатель, вероятно, к своему негодованию уже заметил, что я с момента встречи в веймарском отеле больше не приводил своих непосредственных впечатлений, вместо этого поддался всяческому более или менее убедительным умозаключениям, чтобы объяснить человеческую сущность Гитлера, «анализируя» ее как скульптор Танк. Но тут я должен пояснить читателю, что я ни в коем случае, как это, возможно, показалось, не занимался продолжительное время решением загадки Гитлера. Я на протяжении многих недель вообще едва ли думал о Гитлере, и это было так по меньшей мере с «захвата власти» в январе 1933 года, который неминуемо поставил всех нас перед «свершившимися фактами», перед фактами, которыми мы вынуждены были теперь довольствоваться в любом случае. Кто может определить, сколько труда требуется преподавателю высшей школы, ко-

торый хочет хотя бы частично следить за успехами его науки, тот поймет, что у меня просто не было времени, чтобы заниматься «фюрером Гитлером» или хотя бы даже человеком Гитлером. Для преподавателей высшей школы ведь никогда еще не было восьмичасового рабочего дня, да и долгие каникулы, из-за которых им, как и учителям, завидуют, тоже должны посвящаться умственной работе. Это касалось прежде всего меня, который в 1930 году из свободного автора научных книг внезапно очутился под бременем обязанностей преподавателя высшей школы. Для меня в течение всего гитлеровского времени главным делом была моя научная работа, а политика и размышления о человеческой сущности Гитлера оставались только второстепенным делом, к которому я обращался лишь от случая к случаю.

С учетом этой предпосылки я хотел бы теперь вернуться к моим выводам. Я испытал «захват власти» в Йене сначала перед радиоприемником: моя жена и я, так как у нас не было приемника, были приглашены одной супружеской парой коллег на вечер 31 января 1933 года. Была объявлена трансляция факельного шествия перед Имперской канцелярией. Раздались знакомые марши, слышались крики «Хайль!», радио разъясняло все с привычными уже до Гитлера, а также и после него то возбужденными, то торжественными словами. Я сидел в кресле, охваченный чувством внезапной подавленности: теперь он после долгого и опасного «времени борьбы» достиг власти. Каких людей он назначит на высокие посты в государстве и партии? Есть ли в его окружении хоть небольшая часть необходимой для этого подготовленной команды?

Я смог обнаружить в окружении Гитлера только немногих мужчин, которым я доверил бы управление государственным ведомством. Там был Дарре, там был Фрик,

и для военного поста, вероятно, Геринг. Но кто еще? Погрузившегося в такой подавленности, меня неоднократно отрывал от моих мыслей голос воодушевленно ходившего туда-сюда коллеги, который спрашивал меня: «Разве это не великолепно?» Я собрался с мыслями и отвечал, чтобы не вызывать у моего превосходного коллеги неприятных впечатлений: «Да, великолепно, великолепно!» Но мою тревогу больше нельзя было отогнать, и сегодня я хотел бы предполагать, что тогда и еще больше позднее такие мои тревоги были оправданны.

В предисловии к четвертому изданию «Наследования и окружающей среды» (1966) я указал на пагубный выбор Гитлером своих подчиненных, так же, как я уже выше при случае называл неспособных и недостойных людей в окружении Гитлера, избранных Гитлером, которому так не хватало знания людей. Выбранный Гитлером лейб-медик в самой большой степени оказался для него роковым.

По словам Марциала главная добродетель вождя — умение разгадывать своих людей: *principis est virtus maxima nosse suos* («величайшая заслуга вождя — знать своих людей»). Этой добродетелью наш «фюрер» по своему унаследованному предрасположению так никогда и не овладел.

Начальники и среди них государственные деятели с хорошим знанием людей в состоянии находить как бы в самих себе правила человеческого поведения, правила, которые менее одаренные знанием людей могут получить в результате разнообразного опыта. Гитлер, внимательный наблюдатель массовой души, но плохой знаток отдельных душ, по-видимому, не был в состоянии, из опыта — а плохого опыта у него было более чем достаточно — получить для себя правила для выбора своих подчиненных. Он, по моим

впечатлениям, также никогда не думал о том, как мало людей, прежде всего людей нижних и средних сословий, могут пережить свой рост в званиях и в значении, не потеряв при этом психического равновесия и не выпячивая после такого роста более сомнительные стороны своего предрасположения. Среди выбранных Гитлером гауляйтеров были люди, которые на своих властных позициях, недоступных для общественной оценки, не уважали приличий, обычаев и законов, нарушали превосходный национал-социалистический принцип «общественная польза выше личной» и из-за этого становились смешными в глазах обреченной на молчание общественности.

Некоторые люди из нижних и средних сословий начинают любоваться самими собой, когда едут в служебном или личном «Мерседесе» и считают себя на своей властной позиции — недоступной для общественной оценки — имеющими право поступать, как им вздумается, вне законов и обычаев, в духе «мне никто ничего не сделает». В окружении Гитлера были люди, которые ссылались на фюрера и на свое высокое положение, когда полицейские напоминали им о соблюдении правил. Но я находил в окружении Гитлера людей и более высокого происхождения, которым после возвышения во власти их новое могущество тоже ударило в голову. Один из таких, который до того запомнился мне лишь как всезнайка с презрительной улыбкой, добравшись до власти, дал волю своему диктаторскому предрасположению. В каждом народе и в любое время, как и при любой форме государственного правления, во всех сословиях живут люди, которым только внешние обстоятельства запрещают развивать унаследованное ими диктаторское предрасположение. Я предполагаю, что явления такого рода часты сегодня прежде всего в «слаборазвитых», «освободившихся

от колониального гнета» странах, у народов и племен которых, впрочем, за многие тысячелетия с конца палеолита вполне были все шансы, чтобы «развиться». Маленький пример из нашего времени и из «высокоразвитого» народа: один федеральный министр требовал — правда, напрасно — наказать полицейского, который не сразу обеспечил машине министра свободный проезд, остановив при этом все движение.

Рассказывают, что Гитлер при выборе претендентов на высокий государственный или партийный пост выбирал того, кто в соревновании с другими претендентами оказывался «более сильным». Стало быть, Гитлер из истории государств и партий не научился тому, что там, где решает не превосходящее знание людей — что-то, что должно быть унаследовано и чему только в малой степени можно научиться, — часто побеждает конкурентов тот, кто по своему предрасположению готов воспользоваться и самыми низкими средствами. В политике времен разрушения сам по себе успех добившегося успеха человека меньше всего является доказательством его высоких человеческих качеств.

После «захвата власти» наступила глупая и грубая «унификация» («гляйхшальтунг» — подгонка всех под господствующую идеологию), унификация, которой едва ли можно было бы избежать в высоких учреждениях, но к которой отнюдь не следовало принуждать шахматные клубы или кружки любителей кролиководства. Такие группы и группки вынуждены были снимать своих председателей, если они не были национал-социалистами, и выбирать на их место членов партии, лучше всего «старых борцов», без разницы, способны они к этому или нет.

Последовал запрет или унификация национальных союзов, студенческих союзов в университетах, ликвидация

цветных фуражек школьников, в которых вдруг увидели признак «сословного самомнения». Началось несказанно глупое притеснение университетских профессоров, вообще преподавателей всех ступеней, если они еще не присоединились к НСДАП. К притеснению профессоров я еще вернусь. То, что при таких поводах выступали и снова и снова будут выступать те, которые при всех переворотах ищут и находят повод к удовлетворению личной мести или содействию корыстным планам, принадлежит, как нам также было доказано в 1945 году, к картине каждого государственного переворота и, во всяком случае, в этом не стоит обвинять Гитлера. Преследование национал-социалистов подстрекаемыми массами на родине и за рубежом показало нам даже худшие примеры.

Но для меня все эти события были отвратительны. Я узнал, едва приехав на лекции с нашей квартиры на холме в город, о новых эксцессах и преступлениях, о вторжениях «коричневых» студентов в дома студенческих союзов, об угрозах ученикам и ученицам, принадлежавшим к национальным союзам, с отвращением видел бойкот еврейских магазинов, устроенный штурмовиками, стоявшими на страже у входов. При этом я был несправедливо настроен против Гитлера; потому что я хотел приписывать ему распоряжения о таких эксцессах и таких бессмысленных безобразиях. В большинстве случаев приказы отдавали, тем не менее, появляющиеся теперь всюду «маленькие гитлеры», которые хотели обратить на себя внимание фюрера своей особой молодцеватостью. Все-таки эти ситуации представлялись моему свободолюбию как результат диктатуры — хотя и неизбежной ввиду угрозы коммунизма, но не соответствующей моей сущности? форме государственного правления. Я потому обращал — порой несправедливо — мою злобу

на Гитлера, который действительно стал диктатором после закона о предоставлении чрезвычайных полномочий, закона, за который в Рейхстаге голосовали также и те люди, которые заняли высокие посты в Федеративной республике после 1945 года.

Как только я услышал в городе о новых преступлениях и вернулся на обед домой на наш холм, я прочел своей жене, после того как мы сели, греческие стихи:

*«Я хочу увенчать мой меч миртом,  
как Армодий и Аристокитон,  
так как они убили тирана».*

После нескольких повторений моя жена возразила мне с улыбкой: «Ты не успокоишься, пока они не отправят тебя в концлагерь». О незаконном учреждении таких лагерей мы тогда уже слышали.

Постепенно я привыкал к таким запутанным и странным ситуациям, думая, так же, как и другие, национал-социалисты или нет, что любой переворот, в том числе и направленный против беспорядка, тоже сначала привел бы к росту беспорядка. Кроме того, я был очень загружен моей лекционной деятельностью: я должен был читать главные и дополнительные лекции, вести семинары и коллоквиумы, к разработке которых другие преподаватели университета имели возможность подготовиться еще со своих доцентских лет. Часто я так (до тех пор) углублялся в работу, пока взгляд на часы не говорил мне, что пора как можно скорее спускаться к университету. Одновременно я все еще узнавал достаточно о неприятных явлениях, сопутствовавших перевороту. Мое негодование исчезло, должен я признаться, из-за привычки. Стихи, которые я теперь несколько раз

зачитывал во время обеда, звучали отрешенно, по Гёльдерлину:

*«Ах, толпе нравится то, что годится для рыночной площади,  
и холоп почитает только того, кто проявляет силу».*

В течение следующих лет я снова и снова вспоминал о предупреждении Тита Ливия, дошедшем до нас из великих времен римской аристократической республики, о том, что суровость отечества следует переносить так же терпеливо, как суровость родного дома: *ut parentum saevitiam sic patriae patiando et ferendo leniendam esse.*

## **8.**

Сразу после «захвата власти» в Йене, как и в других городах империи, начался массовый переход социал-демократов, а также коммунистов в НСДАП, особенно в СА. Мы жили над маленькой долиной, в которой лежал милый поселок цейсианцев, как в Йене называли рабочих знаменитых заводов Карла Цейса. Это поселок было единодушен при представляющих случаях и явно и широко вывешивал красные флаги. Многие цейсианцы принадлежали к «Рейхсбанеру», социал-демократической боевой организации. Можно было видеть дородных бюргеров, которые на лацканах пиджаков гордо носили рейхсбанеровские значки, вероятно, унтер-офицеров и фельдфебелей этой численно сильной «боевой группы» социализма. Вскоре после за-

хвата власти я в поселке, снова украшенном красными флагами, с удивлением обнаружил на этих флагах свастику и удивился еще больше, когда вновь увидел толстых бюргеров теперь уже в форме штурмовиков СА. Итак, присоединение состоялось в полной мере — *mobile vulgus* — путем внушительной победы НСДАП на выборах и закона о предоставлении чрезвычайных полномочий.

Только посредством этого присоединения, которое совершилось в городах неожиданно спешно, НСДАП стала настоящей рабочей партией. Тогда Геббельс, который неблагоразумно ни на минутку не мог усмирить свое остроумие, говорил о «мартовских жертвах». Месяц март 1933 года, кажется, привлек самое большое количество бывших социал-демократов и коммунистов — некоторые были слева откомандированы в НСДАП? Я позже порекомендовал высокопоставленным национал-социалистам, которым я мог доверять, разработать статистику членства НСДАП по спискам, которая должна была показать представительство отдельных слоев населения на время до 1933 года. При этом я на основании полученных мною после 1930 года впечатлений высказал предположение, что молодежь образованного среднего сословия была представлена там сильнее всего. До сих пор создание такой статистики не произошло, тогда, вероятно, по другим причинам, чем сегодня.

В Йене в 1933 году я также испытал, какими глупыми и неуклюжими средствами хотели местные бюрократы, частично также студенты, «унифицировать» тех профессоров, которые не вошли в партию и поэтому причислялись к «бестиям мозга». Часть этих профессоров постепенно, в результате внешнеполитических и внутривластных успехов Гитлера и его партии можно было бы привлечь на свою сторону. Но, как правило, более или менее мягкими попытками принуж-

дения против профессоров нельзя достичь ничего. Они менее всего, и с ними много серьезных деятелей искусства, могут позволить огосударствивать или «организовывать» себя. Среди ученых и художников всегда будут те, которые отворачиваются от всякой общности, как поэт в «Театральном вступлении» (Гёте, «Фауст» I):

*«Не говори мне о толпе, повинной  
В том, что пред ней нас оторопь берет».*

Какой-нибудь почтенный ученый и художник вспомнит по отношению к толпе слова Гёте в «Посвящении» к «Фаусту»:

*«Непосвященных голос легковесен,  
И, признаюсь, страшусь я их похвал».*

Свободное государство позволит достойным ученым и художникам думать как Гораций:

*Odi profanum vulgus et arceo  
(Я ненавижу и отталкиваю невежественную толпу.)*

Свободное государство даже защитит ученых и художников от молодых, презирающих свободу, которые захотят принудить их вступить в какой-нибудь «коллектив», где они должны были бы трудиться как «принятые на работу». Особенно свободу женщин нужно защищать от всякого «коллективизма». Снова и снова будут существовать женщины, которые по отношению к вопросам актуальной политики будут ощущать то же самое, что и моя покойная жена, к любимым стихам которой из «Фауста II» принадлежали эти строки:



«Но там, где, в ясности, один  
Ты друг себе и господин.  
Там, в одиночестве, свой край  
Добра и красоты создай».

После разочарований 1933 года и, прежде всего после дальнейших событий в Берлине, я рассказывал жене о беспорядках вокруг нас мало или совсем ничего. Она в ее тихой манере только молчаливо отворачивалась бы. Я не вынес бы брака с политизированной женщиной.

Я познакомился с одной такой в середине двадцатых годов в Данциге, депутаткой Данцигского парламента. Меня пригласил к столу ее супруг, профессор Высшей технической школы. Мы сидели перед накрытым обеденным столом и долго-долго ждали хозяйку. Наконец, она появилась, властная женщина, которая своим красноречием и находчивостью в парламенте затмевала своего мужа, женщина, глаза которой свидетельствовали о высоком интеллекте. Она попросила внести еду, затем открыла обед с такой мужской деловитостью, что мне пришлось принудить себя к отменно приготовленной еде и хорошей застольной беседе.

Сегодняшнее городское «предприятие», прежде всего политическое, уже действует на слишком многих мужчин «обесчеловечивающе». Включение женского пола в это «предприятие», которого сегодня требуют ради «равноправия женщин», душевно навредит женскому полу, который более мужского основывается на человечности, соответственно еще больше, чем мужскому. Но всегда будут существовать и меньшинства женщин, в душах которых, как у той данцигской депутатки, есть то более крепкое свойство, которое защитит их от таких повреждений.

Мне рассказывали, что Гитлер по возможности избегал политизированных женщин. Я тоже одобрял то, что НСДАП — по крайней мере, первоначально — хотела направить женщину в сферу домашнего хозяйства. Ведь большинству женщин привлекательным образом свойственно то, что сегодня порицается в них как «презрительное равнодушие к государству». Однако Гитлер и НСДАП должны были бы обратить внимание, что также не все мужчины, прежде всего ученые и художники, могут быть пригодны к «коллективизации». Опирающееся на правильные идеи государство и великий народ должны смочь позволить себе даже во времена политической смуты дать людям, судьба которых — быть «отдельным человеком», право быть предоставленными самим себе, тем более что из такого их существования «для себя самого» государство и народ, в конце концов, получают только пользу. К свободному государству, каким оно, впрочем, не было возможно в гитлеровские времена, такое убеждение должно принадлежать в еще большей мере.

Заголовок одного романа Томаса Харди звучит: *Far from the madding crowd* («Вдали от обезумевшей толпы», 1874). Так до 1914 года думали еще многие, прежде всего многие англичане. Сегодня и уже при Гитлере ругали и ругают тех, которые могут жить и чувствовать не «общественно активно». В середине девятнадцатого века писатели «Молодой Германии» усердно писали «в духе общественной активности». Кто читает их еще сегодня? Несмотря на то что эти «активные» все-таки еще владели немецким языком. Признания как поэты и мыслители, но также и как государственные деятели, заслуживают не те, кто, как «общественно активные», блуждают в густых чащах временного, а только те, кто, глядя на вечные ценности (идеи) настоя-

щего, доброго и красивого, получают душевную силу, чтобы добиваться постоянного у изменчивого и проходящего.

Все же национал-социализм следует снова и снова извинить, потому что без его «коллективизации» в Европе победил бы большевизм, для которого вообще больше нет свободы отдельного человека. Мне также хотелось бы предположить, что Гитлер мало что узнавал о глупостях и безобразиях многочисленных «маленьких гитлеров». Кроме того, многим членам всех партий для извинений — по крайней мере, их собственной партии — всегда сразу приходила на ум фраза: «Лес рубят, щепки летят».

НСДАП и ее вождя, однако, как враждебные партии, нельзя не упрекнуть в том, что они ничего не сделали, чтобы воспитать свою партию до сравнительно приличной манеры — я уже молчу о достойной позиции.

Так моя отчужденность от НСДАП началась уже вскоре после «захвата власти», вследствие чего я, однако, часто попадал в затруднительное положение, когда мои знакомые говорили о Гитлере и его ближайших подчиненных хвалебно или одобрительно: может быть, как раз эти знакомые были правы, а я неправ? В то же время я спрашивал себя снова и снова: было ли такое «развитие» НСДАП в шумную и прибегающую к насилию массовую партию намерением Гитлера, давал ли он какие-то распоряжения своей партии для этого или же ему только пришлось поневоле уступить давлению набранных с 1933 года в партию городских масс?

В 1933 и 1934 годах я заметил, что национально настроенные мужчины более ранних годов рождения не присоединились к национал-социализму — не говоря уже о том, что некоторые из них попали в лагеря для интернированных. Силезский поэт Эберхарт Кёниг был освобожден из такого лагеря только русскими. Осенью 1933 года я по-

сетил во Фрайбурге-в-Брайсгау моего знакомого «старого Шемана», как его тогда называли, профессора Людвиг Шемана, которому нужно быть благодарным за то, что он спас от забвения жизнь и творчество графа Гобино. Я в начале нашей беседы спросил его: «Ну, что же вы теперь скажете национал-социалистам? Они же позаботились о том, чтобы вас возвысили до почетного гражданина города Фрайбурга». — Шеман тихо застонал, устало поднял руку и махнул рукой. Наша беседа перешла к другим вещам. Но я сказал себе, что никакая партия не могла бы желать или тем более требовать, чтобы постаревшие в других воззрениях люди должны были присоединиться к ней.

В 1945 году имя Шемана было вычеркнуто из списка почетных граждан Фрайбурга. Портрет Шемана, который находился в ряду изображений других почетных граждан, с тех пор исчез. Его не удалось найти, чтобы передать Фонду Гобино в Страсбурге, который захотел приобрести его для себя несколько лет назад.

Моя совсем аполитичная жена, однако, с норвежскими национальностями, позднее также с немецкими национальностями взглядами, при этом с более индивидуалистическим восприятием, чем я, никогда не отвергавшая Гитлера как человека, рассматривающая Гитлера как государственного деятеля с безразличием, в смущенном замешательстве по отношению ко всем партийным делам, примерно в 1931 году вступила в НСДАП. Ее побудили к этому восторженные жены коллег, а также чувство того, что мы должны были быть благодарны за мое назначение в Йену. Больше всего привлекал ее — после 1933 распущенный — «Луизенбунд» (Союз королевы Луизы), в который она, правда, не вступила.

Я сам при моей антипатии к любой партийной сущности, даже уже к любой групповой сущности, и вообще при

моей общей антипатии к политике, представлявшей мне с 1919 года грязной, колебался со вступлением в НСДАП, которая все же все еще представлялась мне наполовину национальной, но заявил о своем желании вступить в партию в тот самый день, когда Брюнинг запретил СА и СС (13 апреля 1932 года).

Моим мотивом при этом вовсе не было какое-либо отращение к канцлеру Брюнингу, который представлялся мне, несмотря на то что я не доверял его намерениям, одной из последних аристократических фигур среди государственных деятелей Европы и Северной Америки. Я всегда рассматривал его портреты со сдержанной благосклонностью. Встречался ли когда-либо после него еще хоть один такой приятный политик в Европе и Северной Америке? Меня охватывало сочувствие, когда я видел его в безвыходном положении, возмущенное сочувствие, когда я узнавал, как буйствующие депутаты ругали его и насмехались над ним на заседаниях Рейхстага. Но я должен был сказать себе, что если уж Бисмарку не удалось своими запретами задержать социал-демократию, то еще гораздо меньше Брюнингу удастся задержать национал-социализм. Так что я тогда вступил в НСДАП, несмотря на то что должен был опасаться, что и эта партия ограничила бы находящуюся под угрозой свободу отдельного человека в пользу возрастающего огосударствления человека в Германии, для принуждения к массовому существованию, которое принадлежит и будет принадлежать к целям любого социализма, да даже вообще любого государства всеобщего социального обеспечения.

После 1933 года в Германии распространилась несвобода, которую я тягостно ощущал уже в годы с 1919-го и до моего отъезда в Норвегию. Лишь позже я понял, что

любое «социальное» государство должно расширять «заботящиеся» о гражданине учреждения, чтобы распределять «общее благо», распределять его «справедливо», что, однако, при такой «институционализации» (бюрократизации) под возрастающими «армиями чиновников», наконец, все больше будет задушена свобода отдельного человека, который хочет руководить собой сам. Во всех этих государствах, я боюсь, дойдет до того, что граждане превратятся в заполняющих различные формуляры подданных, которых с неудовольствием будут пинать туда-сюда между сотнями учреждений и «организаций». Герберт Спенсер, английский философ, прогнозировал этот закат свободы отдельного человека еще сто лет назад. У него, пожалуй, учился также и почитаемый Гитлером Ницше.

Возрастающая несвобода стала после 1933 года тягостнее, чем требовалось бы для защиты от коммунистического переворота. Скоро она уже воспринималась населением, в том числе и членами партии, с озлоблением. Пьесы Шиллера «Дон Карлос» и «Вильгельм Телль» больше не разрешали ставить. На представлениях «Дона Карлоса» дошло до возгласов одобрения при обращенных маркизом Позой к королю словах: «Дайте свободу мыслей!», на представлениях «Вильгельма Телля» бури аплодисментов сопровождали слова Клятвы Рютли: «Да будем мы свободными, как предки!»

Как раз та часть населения, которая еще была народом, пока еще не стала массой, все еще понимала под свободой, как и Шиллер, свободу отдельного человека, собственно «национальную» свободу, происходящую из германских корней.

Я хотел бы для лучшего понимания того, что означала и означает для меня и других свобода отдельного человека, позволить себе включить сюда один отступающий от темы комментарий. Я вырос в «эпоху Вильгельма II», которую рожденные позже люди сегодня так неподобающе поносят. Однако тогдашняя Германская империя дала каждому прилично ведущему себя гражданину такую большую свободу в слове и письме, какую находящееся под угрозой окружения с двух фронтов государство вообще могло бы предоставить. Это я должен был повторять себе всегда в мои молодые годы, когда я — с некритическим пристрастием — взирал на тогдашнюю большую свободу англичан на их острове и в их колониях.

Я, как сын небаденских родителей, вырос во Фрайбурге-в-Брайсгау, то есть, в «образцовой либеральной стране», как называли ее благосклонно и одобрительно небаденцы. Особенно «либеральным» — не в политическом, а в человеческом смысле — было тогдашнее население Фрайбурга, девизом которого, доброжелательным к каждому отдельному человеку, было «Jedem Dierli sei' Bläsierli!»<sup>6</sup> Особый вид и особое поведение моего друга Людвига Фердинанда Клауса и меня, которые бросились в глаза согражданам, спокойно переносились также и теми, кто привык считаться с указаниями Архиепископского ординариата. Тогда звучал приговор: «'s muß au so Lüt gä» (такие люди тоже должны быть). От моего друга и меня не ускользнуло, что с такой

<sup>6</sup> буквально «Каждому зверьку — свое удовольствие!», примерно соответствует нашей поговорке «У каждой пташки свои замашки!» — прим. перев.

уютной свободой ни прусское государство, ни Германскую империю невозможно было бы ни основать, ни сохранить. Но все же мы с благодарностью извлекали для себя пользу из этой свободы отдельного человека.

Я сразу после 1918 года предвидел или предчувствовал, что теперь начался закат такой свободы, закат из-за тех учений о свободе, что сводились к «свободе» только тех, кого Ибсен, содрогаясь, называл «компактным большинством». Началось взаимное подстрекательство городских масс, которое в возрастающей мере угрожало тому, что позже один национал-социалистический «философ» осудил как «частную сферу». Мой друг Клаус смог избежать таким угроз, когда эмигрировал в Аравию и смог там жить «как бедуин среди бедуинов» — таким был заголовок одной из его книг — на свободе пустыни, свободе, которая сегодня находится под огромной угрозой из-за месторождений нефти.

Воспитанный родителями и школой в патриотическом умеренно национальном духе, я сначала с удивлением, потом с отчуждением и ужасом познакомился с националистическим подстрекательством за несколько лет до начала Первой мировой войны, как студент в Париже, но едва ли ощутил его там в средних и нижних сословиях. Владелица пансиона, в котором я жил, настоящая «старая парижанка», — откровенно, свободно, не стесняясь крепких выражений, своим живописным языком высказывающая мне свое мнение, — пережила в 1870 году осаду и передачу Страсбурга и часто рассказывала мне о своих впечатлениях: она познакомилась с *les Prussiens* (пруссаками); они такие же хорошие люди, как и французы; между Германией и Францией разлад сеяли-де только честолюбивые политики. Я впервые ощутил народную ненависть в Париже, когда посетил два доклада с показом диапозитивов в *Association*

*Franco-slave* и в *Association Franco-russe* (Французско-славянской и Французско-русской ассоциациях). К моему удивлению, я заметил, что не мог сначала объяснить себе, что французские члены этих объединений, в большинстве случаев студенты, встречали своих славянских друзей при входе с возбужденными приветствиями. На протяжении вечера я чувствовал невысказанную, но ощутимую ненависть, которая, как я понял позже, очевидно соответствовала начавшемуся окружению Германской империи, подготовке Восточного фронта и Западного фронта. Я никогда не испытывал ничего в таком роде в Германии, даже ненависти к англичанам во время Бурской войны, которая все-таки вызывала отвращение во всей Европе.

Как могло воздействовать такое подстрекательство народа, показало мне поведение одного чешского студента, который, как и я, только что приехав в Париж, на одной лекции сидел рядом со мной. Я несколько раз говорил с ним, причем на немецком языке, которым он хорошо владел, и видел в нем — еще довольно наивно — представителя союзной габсбургской империи. Я случайно снова встретил его на обратном пути в поезде, когда мы ехали по Эльзасу, поприветствовал его в привычной приветливости по-немецки, когда он ответил мне по-французски со смягченной воспитанием, но ощутимой неприязнью. Я не дал ему заметить своего удивления, после короткой беседы пожелал по-французски хорошего возвращения домой и вернулся в свое купе.

В доме моего пансиона, по соседству с которым жила одна пожилая «дама», на которую мне старательно указывала хозяйка пансиона, называя ее одной из тех, «кого имел сам король Эдуард», находилась квартира астронома. Его сын, мой ровесник, передал мне, жившему двумя этажами выше, свою просьбу обмениваться с ним по вечерам одним

часовым уроком немецкого и одним — французского языка. Так я познакомился с образом жизни и со стилем проживания «хорошего» французского дома, но уже в первый вечер обмена у меня возникло чувство, что молодой француз, в отличие от меня, не хотел через иностранный язык научиться понимать чужой народ, а учил немецкий язык только неохотно и с неприязнью к немецкой сущности, а, возможно, лишь для того, чтобы усвоить язык будущего врага. После нескольких вечеров я заметил, что француз снова и снова смотрел на меня взглядом, полным ненависти, с трудом сохраняя вежливость. Вслед за тем он сообщил мне, что теперь у него, к сожалению, больше не будет времени для языковых упражнений. Тогда я начал догадываться, что такая ненависть была направлена на меня не как на отдельного человека с определенными чертами характера, а как на члена отвергаемого французской политикой народа.

Так я в Париже — хотя и только в «образованных» условиях, которые задавали политический тон и где в мире «дам» вращался Эдуард VII, — в первый раз испытал народную ненависть, удручающий для меня опыт, значение которого я осознал, впрочем, лишь позже. Германофобские объявления на стене, которые я видел время от времени, оставили у меня только немного впечатлений. Мое внимание помимо посещаемых мною лекций обращалось к городской жизни, веселой, деловой, к парижанам нижних и средних сословий, которые и в усердии своих трудовых будней никогда не теряли хорошего настроения, в том числе и по отношению к иностранцам. При этом я не находил среди них никакой ненависти к немцам; зато там царили подозрения, что «эти господа там наверху», т.е. правящие круги, использовали время пребывания на государственных постах, чтобы «набить себе карманы».

В Германии я до моего переезда в Норвегию летом 1923 года успел познакомиться с партийной ненавистью, которая уже не была способна признавать отдельного человека как такового, так как видела в каждом человеке представителя ненавидимого «класса». Это была научившаяся у Ленина на фанатичном языке коммунистическая ненависть, которой уже в 1923 году начала отвечать контрненависть «справа», контрненависть, которая после моего переселения в Норвегию у НСДАП возросла до такой же ярости. Я ощутил уже в Дрездене и Бреслау, что немцы, по крайней мере, городские немцы, утратили ощущение отдельного человека, пытались вместо этого зачислить всякого отдельного человека в какую-то политическую группу, либо в ту, которую они поддерживали, либо в ту, с которой они боролись. Каждый должен был «открыто заявить о своих убеждениях», «занять определенную позицию», должен был позволить, иными словами, надеть на себя шоры и осуждать инакомыслящих. В 1885 году философ Фридрих Паульзен писал социологу Фердинанду Тённису о социал-демократах: «Они требуют голосования: да или нет, и если кто-то говорит «нет», то они его ругают». Но с 1885 и особенно с 1919 года все большие партии и, таким образом, наконец, также и НСДАП привыкли к такому угрожающему свободе отдельных людей поведению. Во внутренней части партий эта несвобода царилла как «обязательное единогласное голосование членов фракции» — все это признак того, что, как я покажу, германское понимание свободы начало исчезать.

Я не подвергался такому притеснению ни в Норвегии, ни позже в Швеции, и также не нашел тогда в обоих народах внутривластного подстрекательства, но вместо этого обнаружил еще достаточное внимание и уважение к праву инакомыслящих на свободное решение. Здесь от-

дельный человек еще встречал отдельного человека и, таким образом, в том числе и отдельного человека, который был иностранцем. Один старый норвежский крестьянин, очевидно, без познаний в истории, в беседе со мной однажды хвалил французов, так как они-де ввели свободу, равенство и братство своей Великой революцией. Я не стал поучать его из-за его возраста, но также и потому, что я из всей его открытой сущности мог понять, что его симпатия к французам вовсе не связана с антипатией к немцам, которых ведь — ради подготовки к мировой войне — вообще изображали «отсталыми» по сравнению с французами. Этот норвежский крестьянин воспринимал меня как заслуживающего его расположения отдельного человека с как раз этими чертами моего существа: свободный пожилой мужчина по отношению к другому свободному, но более молодому.

Подобный опыт обрадовал меня позже и в Швеции. Тогда в обеих странах еще не было распространяющегося у нас с 1919 года, невыносимого для меня принуждения к присоединению к какой-то политической группе. Я в тогдашней Скандинавии еще мог дышать воздухом германской свободы, как в те же самые годы Л.Ф. Клаус в Аравии наслаждался бедуинской свободой. *O nomen dulce libertatis!* (Цицерон) — О, это сладкое имя свободы!

В течение моих студенческих лет я познакомился с тем, что германцы тоже защищали свою свободу от всякого государственного принуждения, особенно от принуждения крестивших их норвежских королей, познакомился в первую очередь с Историями исландцев (*Sögur*), которые тогда издало мужественное издательство Дидерихса в Йене, в многотомном «Собрании Туле». Германская свобода была лучше всего сохранена в Исландской республике, которую правоведы нашего времени едва ли могут признавать как настоящее

государство. Так я позже, когда национал-социализм начал ссылаться на древних германцев и германскую «верную преданность», смог сразу осознать, что германство со свойственной ему свободой понимается им совершенно неправильно. «Верная преданность», которую Гитлер ожидал от немцев и которую Гиммлер как обязанность вменял своим СС, вовсе не осознавалась германцами как таковая, не признавалась ими, во всяком случае. Я после 1933 года всегда предполагал, что две книги, описывающие древнегерманскую свободу и преданность, были написаны для исправления национал-социалистических представлений: барон Клаудиус фон Шверин, «Свобода и связанность в германском государстве», в 1933 году, и Бернхард Рефельдт, «Король, народ и дружина в нордической древности», в 1942 году.

Я называю эти труды здесь также потому, что представления, прежде всего газетных авторов, о древних германцах стали еще более неправильными в Германии после 1945 года, чем это было после 1933. Французские исследователи были первыми, кто понял, что за восстановление свободы в Европе после крушения Римской империи и ее подавляющей несвободы — из *cives* (граждан) аристократической республики римляне при цезарях превратились в *servi* (слуг) империи — нужно благодарить оклеветанных как «варвары» германцев (Шатобриан, Гизо, Мишле, Анри Мартен, Озанам и более поздние). Тем не менее я постепенно осознавал, что при декрестьянизации и урбанизации населения исчезнет всякая возможность для сохранения германской свободы. Городскими массами больше нельзя управлять «по-германски». Германцы были — как я позже понял — «прирожденными демократами», если понимать под демократией свободу и равенство владеющих землей глав семей. Позже в Норвегии и Швеции я еще ощущал сильный след такой свободы.

Историям исландцев «Собрания Туле», которые сегодня начали выходить в новом издании, я обязан самыми ранними представлениями о том, что германцы понимали под свободой. Позже базельский ученый Андреас Хойслер с его трудом «Германство»<sup>7</sup> (1929) и Густав Неккель с его книгой «Древнегерманская культура» (1925) как наилучшие эксперты снабдили меня знаниями, так что я сегодня знаю, насколько искажены были представления «общественности» о древних германцах после 1933 и еще больше стали таковыми после 1945 года. Но сегодня новые издания работ Хойслера и Неккеля едва ли нашли бы покупателя. На германскую свободу больше нет «спроса».

Я с моей женой-норвежкой с 1923 до конца 1929 года жил сначала в Норвегии, затем в Швеции, в странах, свобода которых тогда еще не была ограничена «социальной» бюрократизацией и официальной опекой, и где еще людей, сконцентрированных в городские массы, не натравливали друг на друга. Я общался в Швеции с прекрасными людьми, которые встречали меня по-дружески, о которых я вскоре после этого узнавал, что они были настроены германофобски, то есть, были противниками политики Германской империи. Но в то же время они были настроены свободно, не были никем подстрекаемы и никогда не давали почувствовать свою антипатию к Германии отдельному немцу, который им нравился. Такое поведение увеличивало мое уважение к ним и к их народу — тоже памятуя об изречении: «У каждой пташки свои замашки».

Я вспомнил о тогдашней скандинавской свободе, об этом наследии германского, то есть индивидуалистического

7 Вышел восьмым томом в серии «Культура и язык» в издательстве «Винтер» в Гейдельберге.

духа, когда прочитал сообщение о похоронах глубоко уважаемого даже его политическими противниками социал-демократического парламентария Эрлера, умершего в 1966 году. Один из ораторов на похоронах сказал — с внутренним согласием или с отторжением? — к славе умершего, что одним из его тезисов был: «Свобода — это всегда также свобода для инакомыслящих».

Умерший, вероятно, вырос еще в «эпоху Вильгельма II». Однако его тезис больше не был замечен у нас с 1919 года; сегодня он звучит как эхо давно ушедшего прошлого, но он еще действовал в тех Норвегии и Швеции, в которых я так хорошо себя чувствовал.

Когда я в конце 1929 года въехал с семьей в Германию, я был очень слабо подготовлен к прогрессирующему с 1919 года ограничению свободы отдельного человека, собственно германской свободы, к попыткам государства и партий к огосударствлению людей и опеке над ними, к *lurare in verba magistri* («клясться словами учителя»), чего требовал каждый руководитель партии, к слепому подчинению указаниям партийных вождей. Но мое чувство свободы, которое все-таки вскоре поняло, что для восстановления порядка в Германской империи на определенное количество лет потребуются отмена некоторых гражданских прав, еще в 1932 году не позволяло мне представить себе самодержавно правящую национал-социалистическую партию.

Однажды в 1931 или в 1932 году мы сидели вечером в присутствии тюрингского министра Фрика в доме Шульце-Наумбурга в Заалеке, когда речь зашла о возможных или вероятных целях Гитлера и его партии. Я после долгого молчания сказал: «Если бы я был на месте Гитлера, я после победы на выборах сразу же основал бы оппозиционную партию, так как общественная критика должна быть».

Фрик, честный, но в духовном плане лишенный быстрого ума человек, посмотрел на меня со смущенной улыбкой. Мне позже часто приходилось вспоминать об этой моей фразе, особенно тогда, когда я слышал о преступлениях высоких бюрократов, о преступлениях, которые стали известны всем, но виновников которых никто и ни одна газета не решались обвинить публично. Мне достаточно привести тут имя Эриха Коха, гауляйтера Восточной Пруссии. Коха рекомендовали «фюреру» Штрайхер и Борман — и это знание людей?<sup>8</sup>

С 1933 года общая несвобода окружала меня во все возрастающей степени, я чувствовал также и вышеупомянутую угрозу «частной сфере», так что я, как уже было сказано выше, старался, насколько это было возможно, держаться подальше от внутренней политики Гитлера и НСДАП. Никак нельзя сказать, что моя «частная сфера» оказалась под угрозой, что моя свобода, а также свобода преподавания была как-то неуместно ограничена; меня считали «RassenGünther» («Расовым Гюнтером», «Гюнтером-расологом»), и в Йене меня, в общем, оставили в покое, при необходимости я мог сослаться и на обязанности моего академического положения. Но я, будучи настроен свободолобовиво и привыкнув к свободе в Скандинавии, страдал

---

8 Некоторые авторы после войны подозревали Эриха Коха в сотрудничестве со спецслужбами Сталина. Хотя подтверждений этому нет, один тот факт, что СССР не предъявлял никаких претензий арестованному и переданному полякам Коху, вызывает вопросы. Сами же поляки, приговорив Коха к смертной казни в 1959 году, так и не привели этот приговор в исполнение из-за «слабого здоровья» осужденного, заменив его пожизненным заключением. Кох со своим «слабым здоровьем» прожил после этого 27 лет в комфортабельной камере польской тюрьмы и умер в ноябре 1986 года. — прим. перев.



от того, что мне приходилось видеть несвободу других людей. Я страдал, например, от того, что обязан отвечать на робкое гитлеровское приветствие университетского служащего, о котором я знал, что он, инакомыслящий, в душе чувствовал отвращение к Гитлеру. Лицемерная покорность некоторых граждан, которые стали членами партии ради своих привилегий или для защиты от возможных потерь, не могла не огорчать меня.

Неприятно — чтобы не сказать: отвратительно — также было мне, когда кто-то в своих высказываниях в беседе со мной был осторожен или старался разыгрывать передо мной свое согласие с мероприятиями многочисленных «маленьких гитлеров». За годы после 1933 и после 1945 мне пришлось исправить свои представления о немецком населении, так как я не предвидел, с одной стороны, сколько было в нем готовых к покорности людей, с другой стороны, сколько нашлось тех, которые немедленно подавляют инакомыслящих и вредят им, как только те оказываются беззащитными при особенном политическом положении. Для меня стало определенным облегчением, когда Джавахарлал Неру за некоторое время до своей смерти публично сказал, что в каждом народе, также и в индийском, есть люди, которые при нарушении законного порядка воспользуются своим шансом, чтобы совершать зверства. Я должен только напомнить о том, какие ужасы совершили люди против своих инакомыслящих земляков в 1945 году в Норвегии, Дании и Голландии. Граф Гобино говорил: «*L'homme est l'animal mechant par excellence*» («Человек это в высшей степени злое животное»). Только что приведенную правду Неру, без обиняков высказанную им, дружелюбный Гораций, скрыв ее в сказании о Троянской войне, выразил так: *Ilicos intra muros peccatur et extra* («Грешат в стенах и вне

стен Илиона»). Но в тридцатые годы я еще не мог позволить себе такую невозмутимость старости.

Потому в 1933 году и позже я спрашивал себя снова и снова, происходило ли все это по указаниям Гитлера или, по крайней мере, с его допущения, спрашивал себя, не общали ли ему никогда о том, как притесняли его «соотечественников» от его имени все эти многочисленные, очень многочисленные «маленькие гитлеры». Я до сегодняшнего дня не смог найти ответ на этот вопрос, так как «разъяснения», которые были даны нам в 1945 году из нашей страны и из заграницы, могли удовлетворить разве что самых убежденных ненавистников нацистов или уж совсем бездарных людей.

## 10.

За неимением непосредственных впечатлений я попытался, опираясь на изображения Гитлера, заниматься им как *physiognomonikos* (физиогномист), как толкователь выражения лица. Я так пришел, наконец, к маловажному и, вероятно, несостоятельному результату, который выразил, воспользовавшись обозначениями Шопенгауэра: лицо Гитлера от лба через властные глаза до третьей трети носа позволяет сделать вывод о выдающемся «интеллекте»; часть лица ниже второй трети носа — о пролетарской «воле», на службе которой действовал «интеллект». Это отнюдь не означает осуждения Гитлера; так как тот же самый Шопенгауэ-

эр учил, что только очень немногих людей и не во всякое время способны уберечь свой «интеллект» от службы «воле». Среди немецких полководцев нужно назвать прежде всего Мольтке, которому раз за разом удавалось заставлять свой «интеллект» доминировать над «волей». На этом основывается достоинство Мольтке, но оно же основывается также и на том, что такой благородный человек больше не мог быть понят людьми века упадка, большинство из которых пребывало в кабале «воли».

Пролетарская «воля» Гитлера, по моим впечатлениям, выражалась прежде всего в том, что воспринятая им традиционная социалистическая установка на всеобщую, равную заурядность людей стала также и для его «соотечественников» целью, осознавал он это или нет. Так он шел навстречу социалистическим желаниям даже тех, кого Геббельс называл «мартовскими жертвами». Пролетарская «воля» проявлялась также в том, скольких людей низшего, зависимого, подчиненного типа он выбрал «должностными лицами» и поставил на более высокие посты. Так, в конце концов, именно городские массы понимали «народную общность» как состояние всеобщей, равной заурядности. Рассматривал ли Гитлер себя как сверхчеловека, право и долг которого — привести немцев как унифицированную массу к состоянию такой «общности»? Я не хотел бы предполагать, что такая цель когда-нибудь осознанно представлялась ему; но его доминирующая над «интеллектом» «воля»?

Я должен признаться, что для моего решения загадки Гитлера также пытался «анализировать» его чувство музыки, так как музыка, которую любит и ценит человек, часто может кое-что рассказать о душевной сущности этого человека — о душевной сущности, но вряд ли об его политических целях и достижениях. Так, как мне рассказывали, му-

зыкальные пристрастия Гитлера вращались в направлении Вагнера — Брукнера, в то время как я держался за Баха, Генделя, Глюка, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта. Так что я, наверное, не был лучше всего подходящим «экспертом» в музыкальности Гитлера. Тем не менее была одна опера Вагнера, на которой мы могли бы встретиться друг друга, — «Тристан и Изольда». Этот шедевр своими чарами привлекал меня, когда я сам еще любил Вагнера, многие годы и после того, как я услышал его в первый раз, еще будучи студентом. Но также и сегодня еще меня покоряют вступление и второй и третий акты.

Несмотря на то, что я должен во многом признать правоту выдающегося музыковеда Эдуарда Ханслика, который критиковал венскую премьеру 1881 года — он порицал также невыносимо мучительный язык текста, — мне придется упрекнуть Ханслика, что он, по-видимому, не услышал в этих звуках, что, когда Вагнер писал «Тристана», для него как бы стоял вопрос жизни и смерти — как никогда раньше и как никогда позже в его жизни. Великий мастер театра — я при этом ставлю главное ударение полностью на слово «великий» — во вступлении и во втором и третьем акте, и только здесь, раскрывает свое самое сокровенное: безнадежную, всепоглощающую любовь женатого на Минне «мастера» к супруге его цюрихского благодетеля Матильде Везендонк. Везендонки предоставили неимущему Вагнеру и его жене садовый домик в своем парке для музыкальных трудов.

По воле случая Гитлер со свитой однажды появился в ложе Веймарского национального театра, перед которой мы с женой заняли места в первом ярусе. Мы только сели, когда я по движению зрителей незадолго до начала спектакля обратил внимание на входящих за нами в ложу высоких

гостей. Я на короткое время обернулся, узнал Гитлера, но немедленно повернул, как этого требовали приличия, свой взгляд к занавесу на сцене. Мне и в этот вечер не представилось возможности наблюдать Гитлера вблизи. Тем больше я размышлял — меньше во время спектакля и в антрактах, но больше впоследствии — о том, что могло бы так тронуть Гитлера, о страстном увлечении которого Рихардом Вагнером я знал, в «Тристане и Изольде». Я также знал, что он особенно высоко ценил норвежца Гуннара Гроруда как Тристана и шведку Ларсен-Тодсен как Изольду, обоих исполнителей главных ролей этого вечера.

В одном из антрактов мы с женой решили за сценой представиться Гуннару Гроруду. Огромный норвежец принял нас в своей гримерке как Тристан сначала с неохотой — собственно, актера ведь не следует отвлекать во время антрактов, — но потом, когда мы заговорили с ним по-норвежски и он понял, кем мы были, — со своей привлекательной сердечностью. От этой первой встречи и до самой смерти этого большого артиста, который был женат на немке, дружба связала нас с национально настроенным и особенно хорошо разбирающимся в праистории и в древней истории певцом. После 1945 года мстительное норвежское правительство позорно обошлось с Грорудом за то, что он в Вене в конце войны добровольно вступил в народное ополчение (Фольксштурм). Гроруд однажды сказал мне, что он особенно охотно исполнял «метафизические» роли, вроде роли Тристана, и прежде всего любил выступать со шведкой Ларсен-Тодсен.

Мог ли Гитлер услышать в «Тристане и Изольде» шопенгауэровскую «метафизику»? «Тристан и Изольда» — это наивысший взлет мучительного обособления человека в мире из причинности (казуальности), простран-

ства и времени, в то же время наивысшее возвышение индивидуализма, выдающихся людей. Оба любящих осознают не имеющее ни начала, ни конца переплетение цепей из причин и действий, в которые мы все вплетены во время и пространство, наше существование как обязанность быть здесь и наше существование такими как обязанность быть именно такими. Тристан, как и Изольда по отношению к безграничности их любви воспринимают все ограничения в пространстве и времени и из-за сковывающих цепей причин как принуждение «дня» и тоскуют по «ночи», общему восхождению в освобождающее Ничто, только отрицающее наименование для всего того, что возникает и проходит в пространстве и времени. Оба любящих осознают их необходимость быть тут и быть именно такими как раз через судьбу, да, судьбу любви, которая, по мнению окружающих их людей, означает только нарушение обычая и чести. Но что означают для этих влюбленных обычаи, честь, брак, род, племя, народ, отечество, преданное повиновение и все другие — желаемые Гитлером для его народа — ценности в сравнении с неминуемостью их судьбы? Оба они обособленные, отдельные люди, предопределенные к существованию здесь и именно так, которые вопреки всему стремятся к своему неограниченному и вневременному соединению — она: «Я Тристан, ты Изольда», он: «Я Изольда, ты Тристан». И оба готовы к соединению в не имеющем ни начала, ни конца Ничто, оба убеждены в том, что «день» для разделенных из-за того, что они являются именно такими, все время будет приносить разрыв, разрыв из-за подстерегающей всех людей роковой судьбы. Так ожидание совместного восхождения в равном Ничто осчастлиливает их; потому что они, по Шопенгауэру, уверены: «Ибо если что-либо есть ничто из всего того, что мы знаем, то оно в самом деле

для нас вообще ничто. Однако из этого еще не следует, что оно абсолютно ничто, что оно должно быть ничто с каждой возможной точки зрения и в каждом возможном смысле; из этого следует только, что мы ограничены совершенно отрицательным знанием этого». Рихард Вагнер сам высказал то, что Изольда чувствует «самую блаженную отрешенность от пламенной тоски», «вечное соединение в безмерных пространствах, без барьеров, без связей, неотъемлемое» перед трупом Тристана. Так умирает Изольда, припадая к трупу Тристана с признанием: «Неосознанно, наивысшее желание!»

«Тристан и Изольда» — это самое великолепное переложение на музыку обусловленной судьбой невозможности связи обладающих большой душой, полностью самостоятельных в своих решениях отдельных людей. Со времен Рихарда Вагнера музыка привыкла к тому, чтобы играть больше на струнах человеческих нервов, чем на струнах человеческого нрава, сравните, например, «Саломею» Рихарда Штрауса. В «Тристане и Изольде», тем не менее, касаются струн неустрашимого, не боящегося никаких последствий человеческого нрава.

Но что мог услышать в этих звуках Гитлер, оптимист, из переложения на музыку философии безжалостного пессимиста? Все, чего он требовал для себя или, во всяком случае, от своего народа, отрицается в «Тристане и Изольде», все, все.

## 11.

В ноябре 1936 года для всех нехристианских конфессий было официально введено наименование «верующий в бога» («верующий нехристианин»). Вскоре после этого один тюремный священник, занимавшийся вопросами психологии, в том числе и расовой психологии, провел меня по тюрьме для одиночного заключения Моабит, и я не мог не улыбнуться, увидев, сколько подследственных, которые поняли «знаки времени», на дверях своих камер указали под фамилиями «верующий в бога» — наверное, в ожидании более мягкого приговора. Но теперь «верующий в бога» и «Тристан и Изольда»? Особенно третий акт — это подавляющее переложение на музыку атеизма, безбожия всего появления и исчезновения, то есть отрицания всякой веры в Создателя. «Печальная пастушеская песнь», исполняемая английским рожком, что уже может выразить собой безграничную уединенность, — она особенно характеризует обособление человека, противостоящему непоколебимому характеру явления мира, не имевшего Творца. Этот — согласно Шопенгауэру и Вагнеру — осознающий это и как раз из-за своего осознания обреченный на уединенность отдельный человек смотрит здесь — и так это в третьем акте звучит не только из печальной пастушеской песни — в бесконечность явления мира, который не является творением. Здесь и только здесь в отчаянии Вагнера, но одновременно в возвышающем отчаянии, музыка Вагнера достигает своего самого полного совершенства.

Что чувствовал, однако, слушая эти песни, Гитлер, тот, кто если и не предложил сам наименование «верующий в бога», то все же позволил его? Прочел ли Гитлер у столь

почитаемого Рихардом Вагнером Артура Шопенгауэра это предложение: «Если этот мир сотворил какой-нибудь бог, то я не хотел бы быть богом: злополучие этого мира растерзало бы мне сердце»<sup>2</sup> Сердце Гитлера, может быть, обладало другими свойствами, или же он рассматривал почитание Вагнером Шопенгауэра как простительное заблуждение композитора<sup>3</sup> Не расслышал ли оптимист Гитлер пессимизм Вагнера также и в его «Сумерках богов»<sup>4</sup>

Программа НСДАП выступала за «положительное христианство». Если читатель захотел бы теперь спросить меня о том, как такое христианство соотносится с «Тристаном и Изольдой», то мне пришлось бы попросить его освободить меня от ответа — напоминая о предостережении моего упомянутого выше школьного учителя истории: не писать сатиру.

Но тут я слышу растущее возмущение многих читателей, как я, малодушный и экзальтированный эстет, к тому же явно непригодный для политики человек, мог решиться на то, чтобы судить государственного деятеля по виду и степени его понимания музыки. В ответ на этот упрек я для своего оправдания напомню о том, что я обещал рассматривать Гитлера только как *человека* — рассматривать, а не судить. И как раз о психической сущности человека его чувство музыки все же кое-что может рассказать.

Тем не менее боюсь, я должен предположить, что пристрастие Гитлера к «Тристану и Изольде», опере, которая противоречит всему, что Гитлер хотел высоко ценить в немецком народе, вряд ли можно объяснить чем-то иным, кроме недостатков музыкального восприятия у Гитлера. Этому есть доказательство: то, что Гитлер позволил или, вероятно, захотел добавить «Хорста Веселя» к «Песне немцев», переход от характеризующейся благодаря Вильгельму Фуртвэнглеру своей возвышенностью мелодии Гайдна

до — подражающей французскому шансону — мелодии песни «Хорст Вессель». За мелодией Гайдна следовала, совершенно некстати, на квинту выше, в другой тональности и с совсем другим ритмом песня, в которой пелось сокращение (СА) и в которой цезура стиха разрывала слова в середине: «es sehn aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen; der Tag für Freiheit und für Brot bricht an». Обе мелодии соотносились между собой как народ — народ, однако, в наивысшем его значении — и масса, как совершеннолетний народ и несовершеннолетняя масса.

Гитлер основал Имперскую музыкальную палату, в руководство которой были призваны наряду с тщеславными воображаемыми также два или три высокоодаренных композитора. Неужели никто из этих господ не решился сказать Гитлеру о музыкальном ужасе такого добавления<sup>5</sup> Или Гитлер, идя после 1933 года навстречу вкусу масс, сам пожелал этого добавления<sup>6</sup> Здесь кое-кто мог бы возразить, что все же в условиях ощутимого уже во времена Гитлера, а сегодня ставшего всем очевидным падения музыкального художественного вкуса, среди десятков тысяч слушателей в Европе и Северной Америке этот ужас заметили только двое или трое, придирки которых не могли бы помешать политике. Тот, кто хотел бы так оправдать этот ужас, тем самым выразил бы, что Гитлер с его хваленым пониманием музыки больше прислушивался к одобрению тех не имеющих своего мнения десятков тысяч, чем к возражению этих двух или трех компетентных людей.

Но тут я покаянно умолкаю перед упреками в моем экзальтированном эстетстве и обращаюсь к другим соображениям. Время от времени Гитлер приглашал моего друга Шульце-Наумбурга в Берлин для обсуждения архитектурных планов, где он тогда принимал участие в обедах Гитлера в Имперской канцелярии. Во время таких обсуждений он большей частью должен был отговаривать Гитлера от выбора чрезмерно больших размеров для запланированных строений, размеров, которые противоречили целям строительства. Каждый раз, когда я встречал Шульце-Наумбурга после таких дискуссий, он жаловался мне, насколько «ужасным» было человеческое окружение в Имперской канцелярии: мужчины явно подчиненного типа с неуклюжим поведением, зато все предельно преданные своему фюреру. Один из них, который вносил блюда, часто отпускал глупые шутки в адрес гостей, при этом Гитлер не делал ему никаких замечаний. Шульце-Наумбург удивлялся, что Гитлер, которого он уважал и видел в нем настоящего фюрера, не приглашал к столу, по крайней мере, время от времени также хотя бы одного или нескольких человек значительного типа, и как он вообще мог ежедневно выдерживать такое свое окружение.

Шульце-Наумбург не был знатоком людей. Он обычно характеризовал людей только по тому, что сам ощущал в общении с ними. Когда Шульце-Наумбурга спрашивали о характере человека, с которым у него до сих пор был хороший опыт, в большинстве случаев он называл его «симпатичным, милым парнем». Если же его опыт с другими людьми был плохим, то он характеризовал их отрицательно. Геббельса он ненавидел — по опыту; Геринга считал смешным — по

опыту. Если он находил окружение Гитлера «ужасным», то я, помимо неряшливого тона в общении, могу представить себе под этим самое разное. Тем не менее эти рассказы моего друга подтверждали предположение, которое позже само собой каждый раз напрашивалось у меня: пролетарская «воля» Гитлера предпочитала для его ежедневного общения людей, которых на алеманском диалекте называли бы «Manne(n)»<sup>9</sup>; господ же она не выносила, во всяком случае, на длительный срок. В конечном счете, это пришлось почувствовать на себе и Вальтеру Дарре, который был уволен особенно унижительным способом, а также, вероятно, и некоторым другим. Жена (позднее вдова) одного мюнхенского издателя — я знал их обоих — как подруга матери Гитлера могла при случае давать ему советы и даже высказывать возражения — по крайней мере, до «захвата власти». Она, которая, как и сам издатель, много сделала для того, чтобы привлечь к национал-социализму часть мюнхенского «высшего общества», однажды обратила внимание Гитлера на предосудительное поведение одного человека из его ближайшего окружения. Гитлер недовольно ответил: «Оставьте мне все же моего придворного шута!» После захвата власти, кажется, никто больше не решался на такие возражения. Гитлер с тех пор посещал дом издателя очень редко.

В 1933 году я познакомился с несколькими «господами» среди высших офицеров и оценивал их очень высоко, среди них был и один будущий фельдмаршал, еще напоминавший «господ» школы Мольтке. Так я вопреки прежним моим впечатлениям предался надеждам, что Гитлер, став фюрером, вместо своих отвратительных, в большинстве случаев коренастых, толстых и туповато-упрямых бюрократов постепенно

9 Примерно соответствует русскому «мужик» — прим. перев.

приблизит к себе этих стройных, прямых «господ», «господ» с острым умом, богатых духом, но поэтому не созданных для покорности, для поголовной равной заурядности. Я также надеялся, что он, австриец, как фюрер постепенно оценит «пруссский стиль» человеческих отношений. Я быстро разочаровался. Я должен был тогда, да и сейчас, признать, причем с сожалением, что Гитлер по отношению к «господам», как и по отношению к последним людям «пруссской чеканки», которые встречаются, впрочем, также и в южной Германии и Австрии, чувствовал себя в некотором смысле уступающим им, более слабым. И это чувство затем во многих случаях превращалось в антипатию — во вред ему и всем нам.

Без такой антипатии нельзя было бы объяснить психическое истязание Герингом и Гитлером генерал-полковника барона Вернера фон Фрича. Так как мне было известно о мерзости этого истязания, то, когда я случайно на улице Унтерден-Линден встретил военный эскорт государственных похорон, которые Гитлер приказал организовать для барона, я был настолько потрясен, что вынужден был отвернуться.

### 13.

Одним таким «господином» бременской и вестфальской чеканки был замечательный Вильгельм Хартнакке. До того как Гитлер, назначивший его, бывшего немецкого националиста, саксонским министром образования, позорным способом уволил его с этой должности, я надеялся, что

Хартнакке, знаток всей системы образования от народной школы до университетов, при этом понимающий образование с точки зрения науки о жизни (биологически), поднимется до поста имперского министра образования. Вместо него это повышение получил тщеславный, посредственный человек, который, как я мог однажды наблюдать, придавал большое значение сапогам на пуговицах. (Я такие сапоги — их застегивали с внешней стороны металлическим крючком — в последний раз видел, еще когда сам учился в народной школе).<sup>10</sup>

Хартнакке рассказывал мне, что он как саксонский министр должен был сопровождать Гитлера с его свитой, когда тот прибыл для освящения восстановленного, наконец, через много лет дрезденского «Цвингера». Август Сильный, когда у него кончились деньги, приказал продолжать дальнейшее строительство «Цвингера» из более дешевого серого песчаника. В девятнадцатом веке или позже «Цвингер» и его многочисленные скульпторы были покрашены серой масляной краской. Последствием этого было откалывание каменных кусков из-за замерзших водяных пузырей. Гитлер шагал рядом с Хартнакке через один из знаменитых павильонов во внутреннем дворе «Цвингера», осматривал все вокруг как знаток строительного дела и затем, прежде чем Хартнакке успел дать подготовленные объяснения, касающиеся устраненных теперь повреждений — большинство скульптур были полностью обновлены, — сделал неправильное объяснение. Хартнакке, в соответствии со своим хорошим воспитанием, поправил его с подобающей вежливостью и негромким голосом, но, очевидно, навлек этим на себя негодование Гитлера. Гитлер продолжил обход молча.

10 Автор имеет в виду Бернхарда Руста — прим. перев.

После осмотра был обед. Затем, когда убрали со стола и все могли свободно гулять по залу, бывший бременский школьный товарищ Хартнакке, теперь высокопоставленный офицер СС, подошел к Хартнакке, отвел его в сторону и тихо сказал: «Ты ему только что возражал; этот человек никогда тебе этого не простит».

Я читал свидетельства, что от случая к случаю Гитлеру можно было возражать, и что на войне несколько генералов открыто возражали ему. Однако это происходило с глазу на глаз. Но по моим впечатлениям такой «господин», как Хартнакке, и к тому же еще бывший немецкий националист не должен был рисковать поправлять Гитлера, тем более во второстепенном вопросе. Также в этом случае Гитлера могло раздражать определенное превосходство человеческого существа, его, привыкшего к услужливости не рассуждающих и покорных бюрократов.

Раздражение Гитлера, но, вероятно, также и другие причины, могли способствовать увольнению Хартнакке. Однако это увольнение большей частью было последствием клеветы на Хартнакке, человеческую ценность которого Гитлер со своим недостаточным знанием людей никогда, кажется, не ощущал.

Я должен немного подготовиться и для понимания дальнейшего рассказа сообщить, что Хартнакке вызвал в свой адрес неудовольствие, если не ненависть, со стороны «красных» в большинстве своем учителей народных школ Саксонии, когда высказался против академического образования учителей народных школ — как еще во времена Веймарской республики. Я и сам высказывался так же, и мои аргументы были приведены в докладе «Наследственность и воспитание» в книге «Наследственность и окружающая среда». Одна из указанных Хартнакке причин была: на прежних

учительских курсах обучались преимущественно люди простого происхождения из способных к продвижению вверх семей, в большинстве случаев умные, серьезные, усердные. (У меня в народной школе были только самые прекрасные учителя). Но при академическом образовании, считал Хартнакке, на службу учителя народной школы приходило бы меньше выходцев из нижних сословий, но больше школьных неудачников из средних и высших кругов. Это был бы другой отбор, от которого Хартнакке не мог ожидать результатов и образцовой сущности прежних учителей.

На Хартнакке жаловались прежде всего, «красные» учителя Саксонии. Саксонские учителя, по словам Хартнакке, прошли с середины двадцатых годов через три болезни: во-первых, краснуху, во-вторых, перемежающуюся лихорадку и, в-третьих, через коричневый загар. И тут один из самых главных врагов Хартнакке как раз стал председателем Национал-социалистического союза учителей Саксонии, незначительный мужчина мелочного образа мыслей, но зато подобранный саксонским гауляйтером, который был близок к Гитлеру, и приглашенный им в министерство образования, которым тогда еще руководил Хартнакке. Похоже, именно гауляйтер и новый министерский советник теперь придумали, как можно оклеветать Хартнакке перед фюрером. Во всяком случае, Хартнакке среди документов, предъявленных ему, как раз и нашел донос с клеветой на него с заметками на полях, сделанными Гитлером. У клеветущего новичка в министерстве было еще мало опыта в делах, так что он забыл это письмо среди документов — пример беззаботности, в которой крутились делающие карьеру бюрократы. Хартнакке прочел письмо и нашел в одном месте заметку Гитлера на полях: «Нет, этот мужчина невозможен». Вскоре после этого Хартнакке был уволен.



Чувство справедливости Гитлера? Обладающему чувством справедливости человеку не требуется знать постулат римского права: *audiatur et altera pars!* («Выслушайте и другую сторону!») Человек с чувством справедливости позволил бы Хартнакке ответить на обвинения в свой адрес. Из работы Альфреда Хохе «Чувство справедливости в юстиции и политике» (1932) я знаю, насколько редким стало живое чувство справедливости в нашем населении, наверное, и среди народов других стран тоже. Но фюрера я представлял себе иначе. О дальнейших примерах отсутствия у Гитлера чувства справедливости мне сообщали надежные люди из ближнего окружения Гитлера. Я не хочу здесь приводить эти примеры, хоть они и сохранились надежно в моей памяти, потому что люди, которых это коснулось, не были мне близки, я даже не был с ними знаком. Я также, разумеется, помнил и о том, что история повествует нам о многих успешных государственных деятелях, и даже о церковных руководителях, которые были лишены чувства справедливости. Я потому не хочу тут осуждать Гитлера, государственного деятеля, скорее себя самого за мою наивную веру в то, что в наш век упадка можно было еще ожидать появления вождя с живым чувством справедливости. Тогда, однако, еще нельзя было ожидать от меня, что я присоединюсь к словам Гёльдерлина: «Я перестал грезить о ней, о мечте человеческих дел».

Для Феогида и Платона все добродетели охватывались справедливостью как наивысшей добродетелью. К пониманию этого должны были прийти, в первую очередь, государственные мужи. Властитель может достичь такой справедливости путем самообладания, самовоспитания. Однако, по моим впечатлениям, Гитлер по своему предрасположению не был способен к тому самообладанию, кото-

рое отличает великого человека, государственного деятеля и полководца.

Я хотел было сделать вывод о недостающем у Гитлера чувстве справедливости уже тогда, когда он послал приветственную телеграмму в тюрьму нескольким верхнесилезским партийцам, предательски убившим одного коммуниста, в которой говорилось, что НСДАП не допустит казни; убийцы были приговорены к смерти. В 1933 году эти заключенные были освобождены Гитлером. Я был возмущен телеграммой Гитлера, несмотря на то, что я уже задумывался над тогдашним огрубением внутривнутриполитической жизни. Мое чувство справедливости противоречило этому, так как убийство остается убийством, даже если его совершили члены партии. На месте министра юстиции я тоже попросил бы об отставке, когда Гитлер, Гиммлер и другие приказали создавать концентрационные лагеря вне обычной юрисдикции, по меньшей мере, потребовал бы письменно пообещать мне, что суды общей юрисдикции как можно скорее рассмотрят дела этих арестантов в ходе быстрых процессов. Знаменитый мельник из Сан-Суси противился своему королю, Старому Фрицу, ссылаясь на Королевский апелляционный суд. Такое пруссачество свободных людей оставалось для Гитлера чуждым.

Я не хотел бы в этой связи более подробно разбирать так называемый Путч Рёма 30 июня 1934 года и его страшные последствия, так как Гитлер участвовал в этом больше как политик, чем как человек, так, по крайней мере, судя по официальным сообщениям, которые говорили об «акте государственной самообороны», и по словам министра юстиции, назвавшего или вынужденного назвать эти многочисленные незаконные расстрелы «законными». Но неужели Гитлер не знал, насколько количество «прикончен-

ных» той ночью злодеями из его партии превышало количество «осужденных»? Поручил ли он преследовать таких убийц?

Почему он не приказал арестовать Рёма и других «обвиняемых», если они были виновны, и не сделал так, чтобы они предстали перед государственным судом? Чувство справедливости? Совесть?

Позже утверждалось и, насколько я знаю, никогда не было опровергнуто, что Рём и его соратники из СА не имели никаких предательских планов. И больше того: почему до смерти Рёма — издатель Ю.Ф. Леман ведь предупреждал Гитлера о Рёме — гомосексуальность терпели, а после нее стали ее преследовать? — Чувство справедливости?

После незаконного подавления «путча» последовала незаконная «ликвидация» Грегора Штрассера. Штрассер на одном заседании партийного руководства, на котором его победили большинством голосов, отказался от своих партийных постов и как свободное, следующее за своими убеждениями «частное лицо» пошел работать в одну берлинскую фирму. Отдал ли Гитлер распоряжение о «ликвидации» Штрассера или только допустил ее? Чувство справедливости? Совесть? Если бы Штрассер уже после выхода из партийного руководства совершил предательство, почему он не предстал перед судом?

О расстреле Штрассера, вокруг которого ходило множество слухов и о котором я в дальнейшем смог узнать кое-какие подробности только от некоторых высокопоставленных партийцев, которые доверяли мне, а я мог доверять им, я и моя жена получили вот такое опосредованное впечатление.

Спустя некоторое время после преступления, когда меня пригласили из Йены в Берлин, мы подыскивали в Берлине квартиру. При этом один посредник привел нас в большую

квартиру, в которой царил полумрак; она сдавалась внаем. Всюду стояли цветы, портрет неизвестного мужчины был увенчан подобно алтарю, перед ним стояли цветы. Мы с посредником ждали владелицу квартиры, которой о нас доложили. Она пришла одетая во все черное, говорила мало и тихим голосом, затем встала, чтобы принести что-то, относящееся к делу. Посредник шепнул нам: «Госпожа Штрассер». Когда она вернулась, я поблагодарил за информацию и при прощании сказал, что нам нужно еще подумать.

Моя жена и я никогда не смогли бы переехать в эту квартиру. Жена впоследствии никогда не говорила о своем тогдашнем впечатлении. Она молчала и позже, когда я спустя некоторое время рассказал ей о ставших мне известными подоплеках преступления. Я думал: неужели у людей вокруг Гитлера больше не было права на свои собственные, свободные убеждения? Требовал ли фанатичный фюрер от них слепого подчинения? Называл ли он такое подчинение «верной преданностью»? Тогда для меня и многих членов партии самым главным было прежде всего избегать окружения Гитлера. Это удалось мне, но, к сожалению, не всем членам партии. Я предполагаю, что с момента Путча Рёма началась внутренняя отчужденность многих немцев, в том числе и многих национал-социалистов, от Гитлера, а также «Соппротивление», прежде всего со стороны тех молодых офицеров, отцы которых были застрелены той злосчастной ночью «государственного чрезвычайного положения». С тех пор никто больше не верил в чувство справедливости Гитлера — за исключением тех, кто по своему предрасположению вообще не задавал таких вопросов. Некоторые могли бы оправдывать несколько преступлений также внутривнутриполитическим положением Германии, так как для общего мнения все-таки снова и снова справедлив был принцип: «Все лучше, чем большевизм!»

Но Гитлер был лишен не только чувства справедливости, что для государственного деятеля всегда будет внушающим опасения свойством, и эти опасения никак не уменьшаются и с учетом доказанного Альфредом Хохе факта редкости чувства справедливости среди людей вообще; он в некоторых случаях также был лишен чувства приличия в ежедневном общении с людьми, не обладал чувством уважения, которого заслуживает всякий достойный человек. Короче говоря, он и в этом не был близким. Это доказывает пример психических издевательств над моим другом Шульце-Наумбургом, которому Гитлер все-таки был кое-чем обязан.

Гитлер где-то в 1934 году поручил Шульце-Наумбургу обновить интерьеры Нюрнбергского оперного театра к партийному съезду 1935 года. Шульце-Наумбург уведомил обер-бургомистра города, когда он придет для проверки планов строительства. При прибытии его ожидал обер-бургомистр со свитой, все в коричневых рубашках. Работы по внутренней отделке начались и были почти закончены в 1935 году, когда Гитлер с приближенными появился в Нюрнберге и поручил сообщить о своем прибытии Шульце-Наумбургу, который теперь жил в Веймаре.

То, что произошло потом, кажется непонятным, если я вначале не сообщу следующее: Гитлер по вопросам архитектуры консультировался также с вдовой одного архитектора. Ее умершего мужа высоко ценили как Гитлер, так и Шульце-Наумбург. Шульце-Наумбург однажды рассказал мне, что умерший в беседе с ним сам называл себя «собственно только хорошим архитектором по интерьеру». Как мой друг оценивал саму вдову в качестве консультанта, явствует из

замечания, произнесенного им в одном разговоре со мной: «Я все-таки не позволил бы вдове хирурга делать мне операцию на слепой кишке». Может быть, Шульце-Наумбург выражался в таком духе также и в беседах с другими людьми, и поэтому, как обычно бывает во времена всех диктатур, но и в демократических государствах тоже, эту оценку некто излишне усердный донес до уважаемой Гитлером вдовы. Тогда то, что произошло в дальнейшем, можно было бы объяснить мстостью этой вдовы. Ей, видимо, как фаворитке фюрера удалось посмотреть внутреннюю отделку оперы перед высочайшим осмотром; иначе нельзя объяснить, что Гитлер заранее был проинформирован о подробностях.

Вдова среди прочего, что ей тогда не понравилось, увидела в продолговатом фойе оперы синий ковер на полу, синий вместо обыкновенного красного. Для Шульце-Наумбурга, который был уполномочен делать все заказы, синий ковер был необходим, потому что по желанию Гитлера с узкой стороны фойе висела картина художника Ансельма фон Фейербаха «Пир у Платона», продолговатый прямоугольник, как оригинал или как копия. Но эта картина, выдержанная в светлых, приглушенных тонах, была бы, как говорится, «убита» красным ковром.

Осмотр здания Гитлером и его свитой начался. О том, что произошло потом, я вскоре узнал от Шульце-Наумбурга, немного позже еще от одного присутствовавшего при осмотре господина из ведомства Розенберга, и еще позже от Дарре. Все они рассказывали мне единогласно: Гитлер, сопровождаемый Шульце-Наумбургом, в окружении своей свиты вступил в вестибюль, осмотрелся вокруг и недовольно хмыкнул. С явным неодобрением на лице он прошагал дальше к лестничной клетке и теперь внятно произнес для всех: «Теперь тут только синего ковра не хватает». Шуль-

це-Наумбург молчал. Дарре рассказывал мне позже, что сцена эта была настолько неприятной, что он оглядывался по сторонам в поисках мышинной норки, чтобы спрятаться там и больше не видеть и не слышать ничего в таком роде.

Шульце-Наумбург вернулся из оперы в отель, где его ждала жена, но там ему, однако, уже передали письмо Гитлера, в котором говорилось, что он отныне должен был разделить руководство строительством с упомянутой вдовой. Шульце-Наумбург немедленно ответил, что он отказывается от руководства строительством, и послал это письмо в отель, где пребывал Гитлер. Затем он с женой пошел в ресторан их отеля, где за длинным столом сидели высокопоставленные бюрократы НСДАП, уже знавшие о случившемся. Для них, которые частично знали Шульце-Наумбурга, он и его жена стали пустым местом; никто их не приветствовал, все продолжали есть: фюрер сказал свое слово.

Когда Шульце-Наумбург после трапезы шел с женой к вокзалу, их ожидал в отеле один партиец, высокопоставленный правительственный архитектор, который знал Шульце-Наумбурга и рискнул проводить попавшего в опалу коллегу до поезда. Падение Шульце-Наумбурга, должно быть, быстро стало известным во всех партийных структурах. Некоторое время спустя я встретил в Берлине одного господина, занимающего довольно высокую должность, и спросил его с легкой улыбкой: «С Шульце-Наумбургом ведь наверняка больше не общаются?» Он ответил с полной серьезностью: «Нет».

Когда я недавно прочел в книге «*Gli uomini e le rovine*» («Люди и руины», 1967) национально настроенного итальянского барона Юлиуса Эволи, что каждый фашизм порождает *servilismo* (сервилизм, рабское угодничество), такие происшествия снова вспомнились мне. Но я сомневаюсь, что

процессы такого рода были возможны только при Муссолини и Гитлере. Некоторые думают, что существует также и республиканский «сервилизм». В общем, при самых различных формах государственного правления после смерти или падения государственного деятеля справедлив принцип:

«Только люди не стали лучше:

они отделяются от зла, но злыми остались»

«Фауст» II<sup>11</sup>

Не только вокруг диктаторов толпятся раболепствующие.

При возвращении в Веймар, как некоторое время тому назад рассказывала мне вдова Шульце-Наумбурга, она посоветовала ему эмигрировать. Но он, молча глядя на пейзаж, сказал тогда, что для него невозможно было бы покинуть эту страну. Через неделю после нюрнбергского инцидента Шульце-Наумбург в присутствии его жены рассказал мне о том, как с ним обошелся Гитлер. Я сказал ему: «Теперь ты согласишься со мной: этот мужчина — пролетарий». Шульце-Наумбург опустил глаза, некоторое время молчал, а потом тихо произнес: «Где большой свет, там и большая тень». Пролетарием я хотел и хочу называть человека, который неуклюже, грубо или злонамеренно врывается на внутреннюю душевную территорию другого человека и, будучи начальником, позволяет себе публично унижать своих подчиненных.

Несколько лет назад я узнал, что Гитлер перед своими собравшимися бюрократами неоднократно и гнусно унижал одного из своих верных, но непокорных соратников: Виль-

11 В классическом переводе Бориса Пастернака: «Но стало выражать презренье. Злодеи — разговор иной, тех чтут, но плохо с сатаной»

гельма Фрика. Вдова Фрика, которая вначале почитала Гитлера, в конце возненавидела его. Однако сам Фрик выдержал это все до самого горького конца ради империи.

Человек Гитлер проявил себя как «пролетарий» также в одной из своих речей во время войны, я имею в виду ту его речь, в которой он назвал Черчилля пьяницей. Алкоголизм Черчилля был внутри и вне Англии известен так же, как и алкоголизм его дочери. Но государственный деятель Гитлер должен был бы подумать, что внутри страны и за границей более умные люди задумаются: если кто-то ругает своего противника таким способом в публичной речи, то разве он тем самым не разоблачает самого себя как более слабого противника?

Одна дама, рассказавшая об этом Шульце-Наумбургу, зная о произошедшем в Нюрнберге, хотела было склонить бывавшего время от времени в ее доме Гитлера примириться с Шульце-Наумбургом с помощью какого-либо строительного подряда. Гейбельс, который присутствовал там, услышал эту просьбу, немедленно подошел и шепнул Гитлеру: «Но, все же, мой фюрер, вы же знаете....» Остальное дама не смогла расслышать.

## 15.

Я хотел бы детально остановиться теперь на запланированном тогда присуждении мне государственной премии: должен ли я быть обязанным этой премией Гитлеру? Я не могу с этим согласиться. Шульце-Наумбург однажды, когда мы

сидели в Заалеке в его прекрасной большой библиотеке, рассказал мне: «Там перед крылом стоял Гитлер и тут возле крыла я, когда между нами речь зашла о расе. Мне пришлось проинформировать Гитлера, что не бывает ни еврейской, ни немецкой расы; немцы, как и евреи, это смесь рас; немцы отличались от других европейских народов только другим соотношением компонентов смеси рас Европы. Я объяснил тогда Гитлеру, каким примерно является расовый состав немецкого населения. Это было для него новым». Как же мог бы Гитлер присудить государственную премию мне, гобинисту, убежденному в значении элемента нордической расы для подъема и упадка всех народов индогерманской языковой семьи, всех народов от Индии до Германии? Вероятно, Гитлер под «расовым вопросом» понимал только «еврейский вопрос».

Кто столь глупо применил слово «раса господ» к немцам нашего времени? Был ли это Гитлер? Я в этом сомневаюсь; Гитлер во время своего тюремного заключения в Ландсберге должен был прочитать значительное, переведенное также на английский язык произведение «Учение о наследственности человека и расовая гигиена» Эрвина Баура, Ойгена Фишера и Фрица Ленца. Из этой книги он мог бы узнать, что в населении Средней Европы и Западной Европы уже за последние сто лет больные, гупцы, ленивые и недостойные оставили больше потомков, чем здоровые, умные, усердные и достойные, что сегодня никто из экспертов в вопросах наследственности ни в одной из этих стран не мог бы уже говорить о «расе господ». То же самое он мог бы вычитать и в моих книгах. Но Гитлер был оптимистом, верящим в воспитание и во влияние среды, оптимистом, который, несмотря на Баура, Фишера и Ленца, как и весь его век, верил в наследование приобретенных качеств

и ожидал от обучения и воспитания национал-социализмом «прогрессивного» улучшения немецкого населения. Он в «гнусном оптимизме» (Шопенгауэр), полный иллюзий принятия желаемого за действительное, как-то провозгласил на одном партийном съезде, что немецкий народ, мол, стал еще красивее благодаря национал-социализму. Из таких несостоятельных представлений можно также понять, что он допустил глупое словосочетание «раса господ», во внешнеполитическом применении столь же вредное, как наименование «славянские недочеловеки»<sup>12</sup>, которое было перенесено — тоже подобранным Гитлером — Эрихом Кохом, истинным недочеловеком, даже на вначале прогермански настроенных украинцев.

Но в противоположность этому нельзя забывать, что при Гитлере Имперское министерство внутренних дел поручило замечательному доктору Андреасу Гютту разработать закон о предотвращении наследственных болезней у новорожденных (1933) и закон о здоровом браке (1935), законы, возобновление применения которых сегодня настойчиво рекомендует противник нацистов профессор доктор Ганс Нахтсхайм, выдающийся исследователь наследственности (генетик).

Ходатайствовал ли за меня Геббельс, которому как министру пропаганды необходимо было представлять документы для присуждения премий? Это совершенно невообразимо. Геббельс мог прийти в ярость, стоило ему лишь услышать такие слова, как «германский» или «нордический». Вероятно, он узнал, что его и в НСДАП называли «германцем-недомерком» (Schumpfgermane). До 1945 года существовало гобинистское объединение «Нордическое

12 Untermenschen, «неполноценные люди» — прим. перев.

кольцо» (Der Nordische Ring). Им руководил один советник министерства финансов, берлинец того «нахального» или «шикарного» вида, который чужд и неприятен берлинцам из старых берлинских семей. Такие типы иногда пробивались до должности министерских советников. (Упомянутый министерский советник носил чрезвычайно «нордическую» фамилию — Ханно Конопацки-Конопат — прим. перев.) Он через одного знакомого узнал, что у Геббельса, когда тот знакомый в беседе с ним неосторожно заговорил о «нордическом», случился припадок бешенства, перешедший затем в жестокие насмешки. Министерский советник попросил тогда сообщить Геббельсу, что тот должен ожидать его визита, визита с арапником. Мы готовились к наихудшему, но владельцу плетки повезло. Он должен был быть благодарен какому-то обстоятельству, вероятно, спору между Геббельсом с одной и Гиммлером и Гейдрихом с другой стороны, что его только принудительно перевели в Ганновер, но наверняка со строгим порицанием. Против Шульце-Наумбурга Геббельс в гораздо менее важном деле подал жалобу в Верховный партийный суд, возглавлявшийся замечательным майором Вальтером Бухом.

Мне скоро стало понятно, что государственной премией я был обязан Розенбергу. Примерно за четырнадцать дней до начала партийного съезда 1935 года, для которого Шульце-Наумбург и должен был обновить интерьеры Нюрнбергской оперы, в нашей квартире в Далеме появился посланец ведомства Розенберга, передавший мне приглашение Розенберга на съезд. Я попросил молодого господина, которого хорошо знал и был ему обязан некоторой информацией о делах и махинациях на высоких постах, передать господину Розенбергу — с которым я никогда не сближался — самую сердечную благодарность

за его доброжелательное намерение, но одновременно попросить его благосклонно понять, что для меня, как и для Отто Вайнингера, психология масс все еще начинается уже с трех человек. Молодой господин — если я правильно помню, из мекленбургского дворянства — судя по его мимолетной улыбке, понял причины моего отказа. Мы еще поговорили о других вещах, прежде чем он попрощался. Однако спустя несколько дней он все же появился снова и доброжелательным и сдержанным тоном от имени Розенберга опять попросил меня, чтобы я на сей раз переборол себя и посетил съезд. Я уступил, также из тех соображений, что я как современник обязан когда-нибудь посмотреть на подобное событие. Я сел в утренний поезд, один из дальних скорых поездов, который уже стоял наготове на полутемном Анхальтском вокзале, войдя в пустое купе второго класса. Вскоре после этого высокий, стройный господин моложе меня зашел ко мне в купе, слегка поклонился и сел напротив меня — настоящий «господин», как я сделал вывод из его внешнего вида, движений и выражения его лица, когда поезд выехал из полумрака вокзала. Мы остались в купе одни. Он читал письмо. На его шее я заметил в очень маленькой копии предположительно высокий орден. Затем он покинул купе, оставил, однако, на своем месте прочитанное письмо в конверте так, что я, лишь слегка согнувшись — я не в силах был воспротивиться искушению узнать, кем мог быть этот настоящий «господин» — смог прочесть адрес. Имени я уже не помню, а титул его был «адмирал в отставке». Вслед за тем господин вернулся в купе, и теперь мы молча сидели друг напротив друга, пока незадолго до Йены адмирал не стал внимательно рассматривать одно большое, знакомое мне по моему пребыванию в Йене, здание. Тогда я объяс-

нил ему, что это за здание. Так у нас началась легкая беседа, которая, наконец, стала настолько дружеской, что я, не боясь нарушить дистанцию, спросил его, не едет ли он в Нюрнберг. Он подтвердил это, сообщив мне, что его пригласили министр Фрик и его супруга, чтобы посмотреть на съезд партии. Я сказал: «Тогда я знаю тех, кто вас пригласил, и могу попросить вас, чтобы вы обязательно передали от меня привет вашим хозяевам». Я назвал ему мое имя, он мне свое.

Поезд прибыл в Нюрнберг. Мы попрощались друг с другом. Он пошел к своему отелю, а я в приемную, в которой должны были со своими документами регистрироваться приглашенные гости. Там нашли мое имя, я получил билет на место в оперном театре, очень красиво напечатанный юбилейный буклет и смог выбрать себе три плакатки, билеты для мест на трибуне на три различные демонстрации перед фюрером. Затем мне сообщили улицу и номер дома, где находилась предоставленная мне комната. Я пошел по направлению к площади Плэррер по знакомому мне городу к простому дому, на одном этаже которого жила рабочая семья, у которой и должен был поселиться я. Очень приятная семья, отец, мать, дети, родители — партийцы, уже ожидали меня и приняли очень сердечно. В моей комнате я прилег, чтобы немного отдохнуть, и взял при этом в руки юбилейный буклет, который был прекрасно проиллюстрирован. Там были перечислены ремесленники, которым Шульце-Наумбург поручил работы при обновлении интерьеров оперного театра; но я напрасно искал там имя самого Шульце-Наумбурга.

После небольшого отдыха я пошел в город и выбрал для этого, так как я слышал маршевую музыку с двух сторон, пустынную улицу, обещающую спокойствие и тишину.

Это была с избытком украшенная флагами улица без какого-либо движения. По ее центру я мог спокойно гулять, избегая «психологии масс». Через некоторое время я увидел на удалении высокую фигуру, идущую мне навстречу и тоже посреди улицы. Я узнал адмирала. Страдал ли он тоже — вероятно, по своему опыту — некоторой легкой нелюдимостью? Мы должны были встретиться, поздоровались, перебросились несколькими дружескими словами, пока каждый из нас не пошел дальше своей дорогой. Но для меня эта встреча с прирожденным «господином» осталась незабываемой.

Когда я после переодевания в моей комнате — фрак или штрекеман (костюм-тройка, названный фамилией бывшего немецкого канцлера — прим. перев): я уже не помню, какая одежда тогда была рекомендована, — хотел на трамвае с Плэррера поехать к оперному театру, ни один трамвайный вагон не приехал. Одиноким полицейский объяснил мне, что все движение на улицах к оперному театру перекрыто до начала праздника. Так что мне пришлось душным вечером и в теплой одежде поспешить к оперному театру пешком. В соответствующем настроении я пришел туда, когда в вестибюле навстречу мне бросился какой-то господин из ведомства Розенберга, который взволнованно произнес: «Наконец-то вы пришли, господин профессор!» Я ответил: «Как видите: с точностью до минуты», поспешил к своему месту в партере, которое я нашел сразу, так как оно было последним незанятым. Так как было известно, что Гитлер обычно пунктуален, то сразу вслед за этим из вестибюля раздавался прекрасно исполненный трубный сигнал. Затем последовал, вероятно, провозглашенный каким-то штурмовиком, входившим в оперный театр, призыв в повелительном тоне: «Внимание, фюрер идет!»

Все встали. Я при этом случае, чтобы увидеть часть приглашенных, взглянул вверх, на выступающий напротив моего ряд первого яруса, и заметил офицера среднего роста в мундире высшего чина, стоявшего неподвижно с замершим лицом. Его вид на минуты оторвал меня от всего прочего окружения. У меня в памяти всплыли его изображения, и внезапно я узнал: генерал-полковник барон фон Фрич. Облик барона: самообладание в решимости. Все ж, я, чтобы не привлекать к себе внимание моим прикованным к нему взглядом, немедленно снова обернулся вперед к сцене, перед которой Гитлер и его свита как раз занимали свои места.

Праздник начался. Были произнесены краткие речи. Наступило запланированное вручение премий, лауреаты которых, как я теперь заметил, сидели в моем ряду партера. Когда очередь приблизилась ко мне, я спросил себя, вызовут ли и меня тоже. Когда же, наконец, был вызван незнакомый мне, теперь, однако, названный по имени писатель Ханнс Йост, я тщательно пронаблюдал за «ритуалом». Теперь пришла моя очередь. Я шагнул вперед, поднялся по двум ступеням вверх к Розенбергу, который стоял над закрытой оркестровой ямой, раздавая премии с дипломами. Я принял переплетенный в красную кожу диплом, который позже конфисковали у меня победоносные французы, поблагодарил Розенберга рукопожатием и поклоном, спустился вниз по ступенькам и поблагодарил также сидящего в первом ряду Гитлера. Возле Гитлера сидел, расплывшись от самодовольства, покровительственно глядевший на меня Геринг, так что я — вероятно, вопреки ритуалу — с поклоном и ему протянул руку. Теперь я был награжден премией, странное чувство, потому что я внутренне был немного смущен: как мои соотечественники, в большинстве своем



впервые публично услышавшие мое имя, воспримут мою известность, известность человека, который как преемник Гобино принял у него идею акцентирования нордической расы? Как смог согласиться с таким чувствованием Гитлер, который должен был все-таки думать о смешанном из разных рас Европы народе? С противоречивыми ощущениями я вернулся на свое место.

Вскоре праздник закончился. Я пошел в направлении Плэррера по украшенным иллюминацией улицам, вернулся в мою чисто приготовленную комнату и лег спать. Я увидел в этот день — неожиданно для себя — двух «господ», личности руководителей такого типа, который уже тогда стал редкостью в Европе. Позже я, размышляя об этом, должен был сказать себе, что такие личности в наш век упадка не бросаются в глаза, и тем более у них не могло бы быть никакого пополнения: они были слишком поздно рожденными, как Платон назвал самого себя в его Седьмом письме.

На следующее утро я объявил моим квартирным хозяевам, что я, к сожалению, должен немедленно снова возвращаться в Берлин, но хотел бы оставить им переданные мне билеты на места на трибуне, которые они могут поделить между собой. Какая радость для этой национал-социалистической семьи, порядочных, добросердечных людей!

Так мне стало точно известно, кого я должен был благодарить за государственную премию. Я соответственно написал стоящему далеко от меня Розенбергу, случай оценить которого как человека мне представился лишь намного позже, во время одного светского вечера в его доме, вечера преимущественно для иностранных дипломатов.

Где-то в 1941 или 1942 году я узнал, что в Гитлерюгенде распространяется мнение, что, мол, мои книги хоть и содержат разнообразные важные знания, но в целом уже

устарели. После крушения одна дама среднего возраста обратилась ко мне на оживленной улице в Веймаре и тихо сказала: «Я знаю, кто вы!» Я подумал, что меня обнаружили и скоро сдадут американцам, их машины для перевозки арестованных тогда как раз ездили по городу в поисках жертв. Я с улыбкой спросил: «И кто же я?» Дама сказала, что знала меня по Берлину, где она работала в партийной картотеке и видела там также и мою карточку, но с отметкой: «Немецко-национальный реакционер?» Я объяснил даме, что я никогда не был немецко-национальным, но с моих студенческих времен, однако, действительно был реакционером, только разве что по понятиям 1789 года.

Мы распрощались друг с другом. Она тоже, вероятно, с удовольствием снова незаметно скрылась в уличной толпе.

Я знал, что НСДАП не доверяла мне, так как один партиец, более опытный в таких вещах, потому что его самого подозревали сотрудники службы прослушивания из СД Гейдриха, позвонив на мой — известный лишь доверенным людям — секретный номер, обратил мое внимание на едва слышный треск: признак того, что меня тоже прослушивали. К этому он добавил еще несколько шуточных слов, предназначенных для «слушачей». Еще позже, только в 1943 году, одна моя уже набранная книга для издательства Ю.Ф. Лемана была запрещена описанным выше способом, несмотря на то, что бумагу для этой книги издательству уже предоставили. Саксонец, вероятно, сказал бы об этом: «En scheener Breisdräcker!» («Да уж, хорошенький лауреат!»)

Вероятно, я должен благодарить Дарре за то, что тем не менее в 1941 году НСДАП обратила внимание на мой пятидесятый день рождения. Дарре поручил прислать мне в подарок к этому дню изготовленное фирмой «Розенталь» из

города Зельб произведение скульптора Климша. Я до этого дня скрылся в гостиницу в горах Шварцвальда, но был вызван оттуда телефонным звонком к указанному часу во Фрайбург, где мне тогда был вручен золотой партийный значок НСДАП. Я чувствовал себя неловко, так как этот знак был учрежден для заслуженных «старых борцов», которые наверняка считали неправильным, что его вручали партийцам, вступившим в партию гораздо позже их. Я после 1945 года в лагере для интернированных познакомился с порядочными людьми, получившими этот почетный знак по праву.

## 16.

В 1935 году меня пригласили в Берлин, где 4 ноября, снова в «безупречно сидящем фраке», я произнес мою речь по случаю вступления в должность: «Обновление семейной мысли в Германии» (напечатана в «Наследовании и окружающей среде»). Год назад университет удостоил меня в 126-ю годовщину его основания сделать доклад «Задания сельской социологии в национальном государстве» (напечатан в «Новых ежегодниках немецкой науки», 13-й год выпуска, 1937). В этом докладе я смог развить то, что я хотел понимать под переданным мне для этого предметом сельской социологии (*Rural Sociology*). Этот предмет был представлен мною в Германии впервые. В обоих докладах были, однако, высказаны мысли, которые я задумывал как возражения против национал-социализма.

В Берлине я приблизился теперь к высоким государственным и партийным учреждениям и также нашел, хоть и не искал их, в этих учреждениях доверяющих мне, частично еще по Йене знакомых членов партии, которые в озабоченности от пережитого уведомляли меня о некоторых до сих пор неизвестных мне событиях. Различные учреждения вели друг против друга и внутри себя «борьбу всех против всех», которую только временно можно было утаить от постороннего взгляда. (Сегодня я знаю, что такая борьба отнюдь не является необычной ситуацией в странах всего мира и, как поговаривают, также и в Ватикане). Я упомяну, например, вражду между по-сельски настроенным Дарре и — выбранным Гитлером — Робертом Леем, человеком с настроениями жителя большого города, деградирующим от алкоголизма недостойным руководителем национал-социалистического Трудового фронта. Для этого поста Гитлеру предлагали высокоодаренного, компетентного в вопросах немецкого рабочего класса Августа Виннига, патриотически настроенного социал-демократа, который обратился к национал-социализму.

Особенно отвратительной представлялась мне та подрывная работа, которую Гиммлер и Гейдрих вели против честного Фрика. От этой борьбы и взаимной слежки — Геринг, к примеру, присвоил себе любовные письма Розенберга к одной рыжей еврейке как «материал» против автора писем — для меня не падал никакой свет на Гитлера, разве только на сделанный им выбор своих подчиненных. Гитлер, как я прочел позже, сам считал такую взаимную слежку отвратительной. Я приведу только один пример: я хотел попросить связанного с Гиммлером Дарре, чтобы он заступился перед Гиммлером за одного эсэсовца, который был известен мне еще по Йене как безупречный человек, но по-

пал, однако, в капкан жестокого Гейдриха. Для этого я должен был, по совету его жены, ожидать Дарре, обычно до поздней ночи работавшего в своем министерстве, в полночь в его квартире. Дарре объяснил мне, что он как раз отослал назад полученный им от Гимmlера почетный кинжал; с этим человеком он больше не хотел иметь ничего общего. Однако мне удалось спасти этого члена СС. Я письменно обратился к Гимmlеру. Он пригласил меня для беседы в Любек. Там я смог убедить Гимmlера в порядочности этого человека.

Освальд Шпенглер в 1933 году высказался в том духе, что если кто-то запретит все другие партии в пользу одной-единственной, то он тем самым перенесет противоречия между партиями внутрь одной оставшейся. Я раз за разом вспоминал об этой фразе с 1933 года, прежде всего размышляя о сопротивлении против Дарре и о «борьбе всех против всех». Только два или три года назад я познакомился с книгой, написанной Рудольфом Дильсом: «Lucifer ante portas: Между Зеверингом и Гейдрихом», вышедшей в 1949 году в Цюрихе. Эта книга осталась почти неизвестной в Германии. Ее написал один из наивысших чиновников тайной полиции (первый руководитель гестапо (1933–1934) — прим. перев.), специалист по коммунистической подрывной деятельности, долгое время связанный с Гитлером и Герингом, несомненно, человек «пруссского» воспитания, рассудительный и справедливый, прежде всего судящий о других с самого близкого расстояния. Почему же эта книга в Германии осталась почти незамеченной? Показалась ли она слишком объективной тем, кто после 1945 года клеветал на Гитлера, на мертвого Гитлера, и на национал-социализм, — очень часто, чтобы привлечь этим внимание к самим себе? Была ли и осталась ли эта книга непригодной для дальнейшей травли? Делала ли она неудобные сравнения лет гитлеровского прав-

ления с положением до 1933 и после 1945 года? Автор умер и больше не может об этом рассказать. Я предполагаю, что где-то в 1950 или 1955 году с травлей уж слишком переусердствовали, и для общественности, радовавшейся экономическому чуду, она стала скучной, так как *tempora mutantur, nos et mutantur in illis*; точно сказано: времена меняются, и с ними меняются мнения «общественности». Также во всех подобных делах справедлива и фраза гамбургцев: «Это был уже точно перебор».

Когда я познакомился с этой книгой несколько лет назад, мне в голову пришли некоторые подробности, которые я узнавал от надежных людей в Берлине, в том числе отталкивающие подробности, сделавшие, в конечном итоге, мое пребывание в Берлине невыносимым. Однако книга содержит, сверх того, также сообщения о преступлениях СА и СС, которые доходили до меня только в виде слухов, которым я не доверял. (Дильс сообщает, впрочем, что преступления СА и СС количественно очень уступали преступлениям «Союза Спартака»). Кто прочтет эту книгу, тот поймет мои берлинские настроения, как и настроения моих знакомых из НСДАП, и также такое настроение:

*«запутан, пестр и дик окружает нас здесь искаженный облик»*

Гёте, «Фауст» II<sup>13</sup>

Насколько все же был я прав, когда во время факельного шествия 30 января 1933 года, то есть задолго до того, как узнал о недостающем у Гитлера знании людей, спросил

13 В переводе Пастернака: «Круг помыслов твоих не тут, средь давки масок и причуд»)

себя, какими компетентными и честными людьми хотел бы Гитлер занять многочисленные доставшиеся ему учреждения государства и партии. «Борьба всех против всех» в Берлине и — по высказыванию одного мюнхенского коллеги — также и в Мюнхене не произошла бы или была бы куда менее отвратительной, если бы у Гитлера было хоть небольшое знание людей. Из только что упомянутой книги следует, что Дильсу несколько раз удавалось склонить Гитлера и Геринга вмешаться для прекращения самых плохих выходов СА и СС.

Кто хотел бы попытаться охарактеризовать Гитлера как знатока людей, тот, зная о выборе им своих ближайших подчиненных, должен был бы приписать ему буквально какую-то склонность к «недочеловеческому». Или же он должен был предполагать у Гитлера, по меньшей мере, тот «гнусный оптимизм» (Шопенгауэр), который в своих иллюзиях воображал, что, мол, сама принадлежность к партии, прежде всего к «старым борцам», уже повышает ценность человека и увеличивает его разум настолько, что он становится способным занимать любой руководящий пост. В такой связи также можно упомянуть, что приговоры Верховного партийного суда против обвиненных верховных бюрократов не приводились в исполнение вообще или приводились только в редких случаях. Чувство справедливости у Гитлера? Высоким партийным учреждениям якобы даже было отправлено тайное указание, чтобы те не обращали внимания на ошибки и преступления высокопоставленных чиновников, зато, напротив, строго наказывали проступки мелких партийцев и беспартийных. Я во время одного из многочисленных визитов в Германию в конце двадцатых годов познакомился в Заалеке в доме Шульце-Наумбурга с одним юристом из известной франкской дворянской

фамилии, который из-за таких обстоятельств отказался от своего поста партийного судьи. Высший партийный судья, замечательный, честный майор Бух, сохранил свой пост при самых неблагоприятных обстоятельствах, так как он — оптимист — полагал, что сможет вследствие этого предотвратить еще худшее. Я познакомился с ним в начале тридцатых годов. Позднее высокопоставленные бюрократы, для которых он был надоедлив и обременителен, отодвинули его в тень, и он остался бессильным.

К сожалению, я не могу присоединиться к тем оптимистам, которые питают иллюзии, мол, в будущем ставшая столь же могущественной и получившая в итоге неограниченную власть партия никогда больше не будет вести себя так же, как НСДАП. Меньшим злом всегда будут многопартийные государства, государства с как минимум четырьмя партиями.

Большую часть моих берлинских впечатлений я скрывал от моей жены, но ощущал, однако, по отношению к ней время от времени сочувствие из-за того, что она, выйдя замуж за немца, оказалась во всех этих неприятных ситуациях, по крайней мере, начиная с нашего прощания со Швецией. В драме Гёте «Торквато Тассо», которую она высоко ценила, я нашел подчеркнутые ею слова: «Я так охотно живу в спокойствии».

Но я не хочу этим описанием в очередной раз создать впечатление, будто бы я в течение всех этих лет размышлял преимущественно о Гитлере и НСДАП. Я повторю: такие мысли были для меня второстепенными в сравнении с моей научной работой и преподавательской деятельностью. Оглядываясь назад, я благодарю судьбу, что мне снова и снова удавалось отвлекаться от этих обстоятельств жизни большого города, так, например, во время работы над моей книгой «Формы и праистория брака» (первое изда-

ние, 1940), над «Выбором супружеской пары для счастья в браке и улучшения наследственности» (первое издание, 1941) и прежде всего во время полностью заполняющей мое время работы над подготовкой моей все больше увеличивающейся книги «Крестьянство как форма жизни и общественная форма» (первое издание, 1939), которую одно издательство несмотря на ее объем хотело переиздать третьим изданием. Работе над этой книгой, работе на протяжении как минимум двух лет, я в Берлине наряду с моей лекционной деятельностью и особенно в свободное время предавался в столь полной мере также и потому, что она, по крайней мере, в мыслях уводила меня из «общественного» окружения горожан в «общинное» окружение крестьян и каждый раз становилась для меня своего рода отдыхом. Великий социолог Фердинанд Теннис уже в восьмидесятых годах девятнадцатого века занимался противоположностью городского «общества» и сельской «общности» и пришел к результату: «Так большой город и общественное состояние — это гибель и смерть народа». Вальтера Дарре некоторые верховные бюрократы НСДАП — подобранные Гитлером — ненавидели так глубоко именно потому, что они сами полностью стали жертвой духа масс мегаполисов.

Американский исследователь наследственности (генетик) Кларенс Кук Литтл в 1923 году в *Journal of Heredity* назвал городскую жизнь ошибочным путем человеческого развития. Я пытался доказать и подтвердить этот взгляд в 1934 году в моем произведении «Урбанизация», но сегодня понимаю, что во всех «культурных народах» пагубный дух больших городов уже полностью победил. Поэтому министры сельского хозяйства, высмеиваемые горожанами, в этих государствах играют несущественные, второстепенные роли. Никто из них не мог бы решиться напомнить о

*the blood and the land nexus*. Лей, руководитель Трудового фронта, в яростной борьбе уже победил министра продовольствия Дарре. Для него и для других партия НСДАП была «движением» городских рабочих масс.

Ознакомление с ситуацией в Берлине заставляло меня по возможности избегать любого внимания со стороны высоких ведомств и учреждений. Только недавно я из одной книги толщиной больше тысячи страниц, настоящего «пухлого тома», посвященного покончившему с собой в 1945 году Вальтеру Франку и его Имперскому институту, узнал, как мне удалось уклониться от «высочайшего» внимания. Я к своему удовольствию нашел там упоминание давно забытого мною письма, которое я направил одному хорошо известному мне важному господину в одном имперском властном ведомстве, господину, которому я мог доверять, так как он всегда проявлял понимание ко мне. Он пытался меня как эксперта и для прочего сотрудничества связать с некоторыми высокими государственными и партийными ведомствами. Если верить книге, отказ от моей кандидатуры звучал так, что я, мол, по своему складу никак не подхожу для работы чиновника, что даже свою преподавательскую деятельность я веду только «с тяжелыми вздохами», так как я — не оратор и не учитель, а только пишущий автор и чужак по стилю жизни. Получатель этого письма понял и дал понять «в высшие инстанции», что я не подхожу для желаемой деятельности. Книга по поводу этого письма и нескольких других касающихся меня мест замечает, что я определенно был «лучше, чем моя репутация». *Risum teneatis, amici?* (Удержитесь ли вы от смеха, друзья?)

Шульце-Наумбург сообщил, что он в годы моей преподавательской деятельности в Берлине (в 1935–1939 годах) неоднократно слышал из более высоких инстанций сожаление

и досаду из-за того, что я полностью посвящал себя преподавательской деятельности и отказывался выступать публично. Таким образом, они заметили и сожалели, что я не подхожу к какой-либо пропаганде или не хочу заниматься ею.

В эти берлинские годы я, как говорится, «покончил» с внутренней политикой Гитлера и с глупостями и ошибками его партии, так же, как и лучше проинформированные партийцы. Я направил в министерство просвещения прошение о переводе в как можно ближе расположенный к деревенской обстановке университет, причем я указывал на то, что я могу заниматься предметом «сельская социология», который был дополнительно доверен мне в Берлине, достаточно хорошо только в условиях такого университета. Это, кажется, происходило в 1938 году; но только после того, как я, также и ради моего здоровья, напомнил министерству еще раз и отчетливо о моей просьбе, я получил назначение во Фрайбург-в-Брейсгау, где занял место преподавателя к осени 1939 года. Что касается Берлина, то в отношении его теперь для меня действовал лишь тот же принцип, что и у поэта Горация в отношении Рима:

*«forumque vitat et superba civium: potentiorum limina»<sup>14</sup>*

Я тогда все время вспоминал также строки, которыми Шиллер выразил свое разочарование от Французской революции:

*«Век породил нам эпоху великую. Боже! Как горько в этот великий момент видеть ничтожных людей!»*

---

14 «Забыв и форум, и пороги гордые сограждан, власть имеющих»

## **17.**

20 апреля 1939 должен был надлежащим образом праздноваться пятидесятый день рождения Гитлера. Меня, как и многих других «видных деятелей», тоже попросили написать по этому поводу статью для праздничного номера «Фелькишер Беобахтер». Я был в неловком положении, так как не мог подпевать ожидавшимся газетой похвалам человека и политика. От этой сложности меня освободило знание одной книги, которая с компетентной стороны представляла немецкую историю с 1918 года. Здесь я нашел отображение внешнеполитических успехов Гитлера, которые побудили Черчилля в середине тридцатых годов публично высказаться, что он, если бы Англия однажды оказалась в столь же стесненном положении, как Германия, мог бы только пожелать англичанам такого человека, как Гитлер. Гитлер официально разорвал позорный Версальский договор, обещавший, что за разоружением Германии последует всеобщее разоружение; он заключил в 1933 году соглашение с Польшей, которое должно было сделать возможной мирную дискуссию по спорным вопросам, он объявил в 1934 году о выходе империи из Лиги наций, которая всегда пренебрежительно обращалась с Германией и отказывала ей теперь в равноправии по вооружению, снова ввел всеобщую воинскую повинность в 1935 году и заключил военно-морское соглашение с Англией. В 1935 году путем плебисцита был возвращен Саар. В 1936 году произошло вступление немецких войск в демилитаризованную зону вдоль правого берега Рейна. Пребывавшие прежде под международным управлением немецкие реки были снова возвращены под немецкую юрисдикцию. В марте 1938

года состоялось присоединение Австрии при ликовании австрийского населения, присоединение, которое в 1919 году «державы-победительницы» запретили тогдашнему главе австрийского государства, социал-демократу Карлу Реннеру, а в октябре того же года произошло присоединение немецких судетских областей — в полном соответствии с провозглашенным президентом США Вильсоном в 1918 году правом на самоопределение всех народов. В 1939 году последовал еще возврат Мемельланда.

Так что я мог написать в поздравительной статье, что притесненные и обескровленные немцы могли теперь снова вздохнуть через много лет мучений — благодаря внешней политике их рейхсканцлера.

В сентябре 1939 года разразилась война. Уинстон Черчилль, раньше хваливший Гитлера, уже в 1937 году заявил, что Германия-де стала слишком сильной, и ее нужно снова разбить. Он обсуждал подготовку к войне с Рузвельтом, несмотря на то, что еще не стоял во главе английского правительства. Осенью 1939 года он объявил в публичной речи: «Эта война — английская война, и ее цель — уничтожение Германии». Сегодня доказано, что Рузвельт и Черчилль остались на заднем плане и что главными виновниками являлись лорд Галифакс и польский полковник Бек и, тот самый лорд Галифакс, который хвастался, что живет в *Imitatio Christi*. Сразу после начала войны он публично объявил, что Гитлер теперь принужден к войне. Но Черчилль рассказывал, что в день объявления Великобританией войны он был «преисполнен блеском славы старой Англии».

Враги в большинстве случаев говорили не столь открыто, как Черчилль, человеческую сущность которого, впрочем, в достаточной мере охарактеризовали только после 1967 года воспоминания его личного лечащего врача. Дру-

гие враги выдавали наивным немцам за цель войны устранение Гитлера и национал-социализма. Так ведь этим немцам уже в Первой мировой войне представляли целью войны устранение императора и «милитаристов»: *mundus vult decipi* (мир хочет быть обманутым). Ложь, что император Вильгельм II был виновен в начале войны, была опровергнута американцем С.Б. Феем в его книге, написанной на основании документов воюющих государств. Фей называет истинных виновников; его исторический труд, в немецком переводе вышедший в 1930 году под названием «Происхождение мировой войны», следует сегодня рекомендовать тем немцам, которых немецкие и иностранные газетные писатели «информировали» об исключительной вине Германии в Первой мировой войне. Согласно записям его личного врача, Черчилль в 1945 году говорил об «отвратительной покорности капитулирующих гуннов». Черчилль повторил бы эти слова, вероятно, если бы узнал, что «гуннские» газетные авторы сегодня задним числом снова переносят ложь об исключительной вине Германской империи в Первой мировой войне.

Во Фрайбурге, я, оставив свою семью еще в Берлине на время поиска квартиры, жил как единственный постоялец в отеле около университета, единственный, потому что из-за ночных обстрелов с запада много жителей Фрайбурга покинули город; они снова вернулись туда после перехода Рейна немецкими войсками.

Во Фрайбурге я теперь своими глазами видел воодушевление вокруг Гитлера, по-видимому, обычное дело «в провинции», то есть, вне таких городов, как Берлин или Мюнхен. В течение последних лет я время от времени встречал одного уволенного в 1945 году более пожилого коллегу, который преподавал в Мюнхенском университете

на престижной должности, но при этом, как и я в Берлине, мог кое-что узнавать о делишках недостойных людей на высоких постах. Он сообщал мне об этом. Неосведомленность людей о таких ситуациях в руководстве НСДАП объясняла мне во Фрайбурге этот восторг, по крайней мере, тех из них, с которыми я теперь знакомился. Я с мучением вспоминаю о сияющем взгляде одной служащей университетской библиотеки, которая интересовалась у меня моими впечатлениями в столице империи.

Должен ли был я, к тому же еще и после начала войны, «просвещать» таких людей, то есть, разочаровывать их? Когда я на вопросы одного восторженного коллеги и его жены однажды сделал несколько легких намеков о непорядках в партии и о неспособности некоторых ведущих партийных начальников, но не самого Гитлера, я немедленно ощутил с их стороны внутреннюю неприязнь, которая, вероятно, была даже сомнением в моей правдивости. Но совсем недавно один живущий в маленьком городке редактор национального журнала сообщил, что, по его воспоминаниям, скептическое отношение к НСДАП и Гитлеру со стороны патриотически настроенных людей вовсе не ограничивалось только крупными городами или тем более одними Мюнхеном и Берлином. Он сам в двадцатые годы из-за отталкивающих людей в руководстве НСДАП не вступил в эту партию и во время войны достаточно насмотрелся на своем посту, как эти люди понимали свою «службу народу».

Уже в Берлине и сразу после начала войны я тем не менее сказал себе, что мне теперь тем более не следует заниматься какой-либо дальнейшей «критикой» Гитлера, после того, как я даже до войны высказывал свои мнения только в доверенном кругу национал-социалистов.

В ситуации находящейся под серьезнейшей угрозой империи, которую Гитлер глупым образом — и противореча национальной идее — ради Южного Тироля связал союзническими узами с Италией, по моему ощущению для нас, немцев, оставалось только одно: сохранение Германии, каким бы руководством судьба ее ни оделила. Я придерживался этого, и с того момента молчал о Гитлере и как о человеке, и как о государственном деятеле. Поэтому я могу пропустить годы войны, тем более что я никак не могу оценить Гитлера как полководца, каковым его называют некоторые. О том, что Гитлер своим острым умом чрезвычайно хорошо схватывал также и технические вопросы ведения войны, сообщил мне позже тот сведущий адмирал, которому неоднократно доводилось информировать Гитлера о технических изобретениях и нововведениях в строительстве флота, этот адмирал многозначительным образом молчал о Гитлере как человеке: Гитлер, по его словам, при рассмотрении новых планов, которые адмирал объяснял ему, с удивительной проницательностью умел оценивать сильные и слабые стороны этих планов и в большинстве случаев принимал решение об изготовлении самых целесообразных строений, устройств, приборов и т.д.

Я не могу дать никакой оценки тому, всегда ли Гитлер целесообразно рассуждал и принимал верные решения при управлении военными действиями, в которых ему сначала благоприятствовало военное счастье, правильно ли он оценивал силы противников и неистощимые поставки русским вооружения и техники из Америки, всегда ли он подбирал подходящих для этого полководцев. Наиболее рискованным представлялось моему дилетантскому разуму расширение восточного театра военных действий, которое ему посоветовал один генерал. Мой дилетантский разум разы-



грывал передо мной восточный вал, который должен был протянуться от Восточной Пруссии и вдоль Вислы до Карпат и оттуда к Черному морю и перед которым русские во время повторяющихся массированных наступлений истекли бы кровью.

В целом я следил за немецкими успехами и неудачами с гордостью и тревогой, с гордостью за успехи немецких армий, с растущей тревогой, когда я кое-что узнавал о масштабах потерь. Я не обращал внимания на глупости и ошибки местных партийных структур. После поражения под Сталинградом (31 января 1943 года) меня постепенно покидала надежда на немецкую победу. От одного высокопоставленного офицера, который руководил частью снабжения оружием в Сталинград, я узнал конфиденциальные подробности, прежде всего и о высоких потерях. В еженедельной кинохронике «Вохеншау» я от случая к случаю видел кадры с театров военных действий и кадры с самим Гитлером.

Вечером 20 июля 1944 года я после своей лекции сидел в гостинице, когда радио передало сообщение о неудавшемся покушении на Гитлера, сообщение, которое было воспринято постояльцами гостиницы в полном молчании. Я был объят ужасом. Если я и запретил себе на срок войны любую критику Гитлера, но вместе с тем все же не сочувствие к человеку, который многие годы вынужден был жить под постоянным давлением. Оставив гостиницу, я вышел на лежащую в мирном вечернем свете улицу, по которой усталые люди после ежедневной работы двигались к их домам или квартирам. Меня одолевало желание крикнуть им: «Фюрер пережил покушение на себя невредимым». При этом я употребил бы обычно избегаемое мною слово «фюрер»: уж слишком усердно его навязывали населению. Но отвраще-

ние к покушению на убийство заставляло меня содрогаться. Я тем не менее воздержался от возгласов к усталым возвращающимся домой людям, опасаясь, что кое-кто в ответ только взглянул бы на меня тупым взглядом человека, душевные силы которого истощились за годы войны.

Только в последующие дни я узнал о заговоре против Гитлера, об акции, представлявшейся мне во время войны не только преступной, а прямо-таки безумной перед лицом врагов, которые открыто говорили об искоренении немцев. Только гораздо позже из рассуждений одного национально мыслящего человека, сведущего в правовых вопросах, я сделал вывод, что и при оценке заговорщиков нужно также обращать внимание на их мотивы: один из них беспокоился о спасении народа и империи, другой из ненависти или мести думал о «ликвидации» Гитлера.

Только примерно 6–8 лет назад я ознакомился с телеграммой, которую Эрих Людендорф, знавший Гитлера с самого близкого расстояния, послал президенту Германии фон Гинденбургу, телеграмму от 1 февраля 1933 года: «Назначив Гитлера рейхсканцлером, вы отдали нашу священную германскую отчизну одному из величайших демагогов всех времен. Я предсказываю вам, что этот злой человек погрузит империю в пучину и принесет нашему народу необъятное горе. Будущие поколения проклянут вас за это в гробу». Из этой телеграммы следует, что генерал не мог рассматривать провозглашенный НСДАП «Третий рейх» как государство свободных немецких людей, но отнюдь не следует, что отправитель ее был бы способен думать об измене родине в какой-либо форме, то есть о действии, которое, тем более во время войны, было бы направлено против безопасности отечества. Но кто из людей «Сопrotивления» перед войной или во время войны планировал измену родине или

действовал в этом направлении, тот, если его мотивом была только тревога за народ и Германию, как «преступник по убеждению» мог бы все-таки ожидать от всякого справедливо судящего суда признания смягчающих обстоятельств.

Один киножурнал показал мне последние кадры с Гитлером, увиденные мною: Гитлер показывал место покушения освобожденному Отто Скорцени Муссолини. При этом Гитлер придерживал одну руку другой, которая иначе тряслась у него туда-сюда: ранение или дрожательный паралич? Муссолини в ужасе заглядывал в развороченное помещение, так что я чувствовал сочувствие вместе с ним, в котором я всегда видел достойного уважения итальянца. При взгляде на Гитлера — так я должен признаться — при ошутимом сопротивлении добрым порывам моего нрава во мне побеждало представление: он снова будет говорить о «провидении», сохранившем его ради народа и его миссии. Я позже время от времени упрекал себя за это безжалостное представление, но снова и снова понимал, что при моем предрасположении в том же самом положении получилось бы то же самое представление по отношению к Гитлеру, который тоже должен был быть именно таким, как предписывало ему его предрасположение: *dira necessitas*, как говорил Гораций: ужасная необходимость.

Так что я должен здесь попросить понять меня, что Гитлер, начиная с моей речи в Йене по случаю вступления в должность и до его конца, оставался для меня удивляющей и странной фигурой при всем моем уважении к его внутриполитическим и внешнеполитическим заслугам. Как раз поэтому я также не буду и пытаться высказать о нем то, что называют «общей оценкой».

Позже я при сравнении Гитлера с Муссолини время от времени спрашивал себя: кто из обоих по разуму и силе

воли возвышался над средним уровнем своего народа? На этот вопрос я до сих пор не смог найти ответ. Однако я всегда считал, что Муссолини был правильным *duce* для итальянского народа. К сожалению, конец Муссолини оказался тоже по-настоящему «итальянским».

30 апреля 1945 года в Веймаре я, как я еще опишу подробнее, узнал из радиосообщения о конце Гитлера. Гитлер со всеми его качествами стал для нас, немцев, судьбой, частью тяготеющего над всеми нами неизбежного, непреклонного рока. Но Эсхил говорит: «Мудры те, кто почитает судьбу». Этим эллинский поэт хотел сказать, что дело не в отдельных судьбах, а в том, что мудрые люди умеют извлекать из них уроки для себя.

## 18.

Был ли Гитлер тем, кого обычно называют «трагической фигурой»? Нет: даже его конец — в духовном расстройстве, произошедшем в результате воздействия «лекарств» его личного врача, — был только ужасным, но не трагическим. Это был конец в невменяемости, то есть, не «трагический» конец, если подумать, что, как мы все лишь позже узнали, он отдал Альберту Шпееру, руководителю «Организации Тодта», приказ разрушать портовые сооружения, каналы, промышленные объекты и железнодорожные узлы и т.д., чтобы оставить наступающим врагам только лишь «выжженную землю». Шпеер отказался выполнить этот

приказ, который принес бы остающемуся немецкому населению ужасные несчастья в духе «Плана Моргентау».

Однако этот приказ о разрушении уже не относится, как и все, о чем я достоверно узнал только после 1945 года, к моим впечатлениям, которые, за исключением общего ретроспективного взгляда на годы с 1919-го по 1945-й — ретроспективного взгляда, который еще последует, — заканчиваются со смертью Адольфа Гитлера.

Для оправдания Гитлера перед обвинителями, которые указывали мне на те или иные ошибки и причиненный вред от наивысших, средних и нижних инстанций, я тогда приводил тот аргумент, что Гитлер именно «целиком и полностью» спас Германию от коммунизма, при этом он, очевидно, не обращал внимания на подробности такого спасения. И вот такое «целиком и полностью» будет, однако, в будущем свойственно многим государственным мероприятиям индустриализируемых и урбанизируемых государств, хотя уже в более спокойные времена благоразумные руководители государств внесут в уже и без того распухшие законы дальнейшие параграфы и постановления во избежание «чрезвычайных случаев».

Оптимисты редко становятся трагическими фигурами. К трагичности принадлежит нестигаемость и непреклонное исполнение долга человека, который — по крайней мере, в часы размышления — убежден в преходящести всех явлений во времени и в пространстве или потрясен этим, гераклитовским безначальным и бесконечным появлением и исчезновением всех вещей в неизбежности причин и следствий. Трагическими фигурами немецкой истории был Фридрих Великий — французские вольнодумцы первыми назвали его Великим — и Бисмарк. Старый Фриц в своем завещании выразил сомнения, что его наследники смогут

сохранить прусское государство. Отправленный в отставку князь Бисмарк смотрел на картину здания Рейхстага и говорил себе под нос — но его невестка услышала это, — что с этой лестницы однажды будет провозглашена немецкая республика. Трагический человек будет ощущать, по крайней мере, на мгновения, что-то от сомнительности всего человеческого существования — на мгновения, над которыми он должен взять верх ради своей миссии. По моим впечатлениям, в политической жизни Гитлера никогда не было таких мгновений. Видел ли он сам свое государство как «Тысячелетнюю империю» или же только допустил это наименование? То, что уже первые такты вступления «Тристана и Изольды» выражают удручающую сомнительность всего существования, Гитлер, по-видимому, никогда не воспринимал.

Были ли вообще в политической жизни Гитлера часы размышлений? Удавалось ли ему когда-нибудь освободить свой большой «интеллект» от служения его фанатичной «воле»? Было так, что у него, если воспользоваться словами Гамлета, также никогда «решимости природный цвет не хирел под налетом мысли бледным». Этому предложению можно тем не менее противопоставить убежденность Гёте: «Беспринципная деятельность, какого бы рода она ни была, в конце концов приводит к банкротству».

Без мгновений бесстрастного сознания, без *apatheia* или как минимум *nil admirari* (не удивляться ничему) никогда не будет человеческого величия.

Был ли Гитлер одним из все более распространяющихся людей некрестьянского, городского типа, которые живут без настоящего своего «Я» от события к событию, от впечатления к впечатлению и напряженно учатся отвечать на задаваемые им вопросы более или менее быстрыми решени-

ями, тем самым, однако, поддаются тому, что Гёте называл «беспринципной деятельностью», которая в конце концов и приводит к банкротству? Стремящиеся к успеху и ищущие прочих наслаждений в «беспринципной деятельности» при переменчивом приспособлении к внешней ситуации, сформированные большими городами, американцы будущего будут в плену своих иллюзий полагать, что они являются ведущими, тогда как на самом деле все они лишь ведомые. Большинство жителей большого города, которых норманн Гюстав Флобер изобразил в своем романе «L'education sentimentale» («Воспитание чувств», 1869), уже принадлежат к этой категории людей. Должен ли был Гитлер — по крайней мере, к концу его жизни — стать больше таким ведомым, чем ведущим, ведомым без самости своего «Я» размышления и рассудительности?

По моим впечатлениям, Гитлер никогда, собственно, не задумывался о себе, не «приходил к самому себе». Вероятно, он вообще был лишен такой самости своего «Я» размышления, «незаинтересованного созерцания» (Кант), внутреннего центра тяжести душевного равновесия, этой самой важной сущности каждого творчески предрасположенного человека. Таким образом, он никогда не мог бы добиться того дистанцирования от политических процессов, которое дало великому государственному деятелю и при этом также кардиналу Ришелье тот неподвижно взвешивающий и обдумывающий далекий взгляд в будущее, невозмутимость Бисмарка, позволившего политическому урожаю дозреть до окончательной жатвы. Но к таким качествам настоящего государственного мужа принадлежат также безошибочное знание людей у Бисмарка, бесстрастное разгадывание внутрисполитических и внешнеполитических противников, разгадывание без порывов ненависти. В этом смысле нужно

понимать слова Гёте о «беспринципной деятельности», которая приводит, наконец, к банкротству.

«Король должен иметь возможность спать», — сказал своему королю Фридриху Вильгельму IV вызванный им Бисмарк в дни революции 1848 года, когда королева, слушавшая их беседу, предостерегла тогда еще неизвестного помещного дворянина Бисмарка, чтобы тот не отвечал королю так резко, так как тот не спал уже несколько дней. Эта фраза будущего государственного деятеля указывает также на его внутреннее спокойствие, которое, по моим впечатлениям, отсутствовало у Гитлера. В конце концов, Гитлеру приходилось находить свой сон только с помощью «лекарств» своего лейб-медика, сон, из которого его на следующее утро с помощью уже других «лекарств» подстегивали для дальнейшей «беспринципной деятельности».

Среди тех, кто пытается жить за неимением своей самости, внутреннего «Я» как противовеса против навязывающихся впечатлений, сегодня находятся очень многие, которые для заполнения внутренней пустоты предаются телевидению с его впечатлениями. Гитлер — тут, я боюсь, по моим впечатлениям — в такой большой степени пал жертвой политики и «воли к власти» (Ницше), что его «Я», если оно было заложено в нем, расщепилось на части. «Лекарства» его врача ускорили это разрушение.

Глядя с этой точки зрения, не следует ли понимать «нейтральную полосу», в которой жил Гитлер, не как что-то вроде погружения мистика в самого себя — что я, впрочем, никогда не принимал, — а как напряженное внутреннее внимание к продолжению внешних событий, так же, как к переменчивому поведению масс.

Если же Гитлер тем не менее был на самом деле — как я думаю — человеком без этого «Я», без самой сущности

спокойствия в себе самом: то кто может упрекнуть его за это? Можно принимать действия человека или отвергать их, рассматривать их как полезные или вредные, можно находить человека подходящим или неподходящим к руководящей должности; однако никого нельзя упрекать в его унаследованном предрасположении<sup>15</sup>.

Но если я должен был бы упрекнуть Гитлера в том, что он, по моим предположениям, был лишен этой названной выше внутренней сущности, то я обязан был бы бросить такой же упрек не только в адрес самых видных английских и американских государственных деятелей Второй мировой войны, но и в адрес сотен тысяч живущих в настоящее время людей, что было бы, однако, очевидной несправедливостью. Я даже предполагаю, что сформированный большими городами человеческий тип американца, лишенный этого самого «Я», станет успешным типом человека будущего; так как такое «Я» мешает ловкой «умелой» переменчивой приспособляемости к соответствующим внешним ситуациям, которая сегодня как раз и гарантирует успех.

---

15 Эту фразу дополняет письменный отзыв автора от 21. 9. 68, т.е. за четыре дня до его смерти. Ссылаясь на труд «О свободе воли» Вильгельма Виндельбанда (1848–1915), он пишет: «Кто возразит, что тогда мы не могли или не имели бы права наказывать преступника, мы напомним тому об одной лишь возможной теории уголовного права: защите общества, которая как раз и потребовала бы стерилизации и кастрации. Но Виндельбанд писал это до получения результатов исследований близнецов, до книги Ланге «Преступление как судьба», о которой сегодня молчат, так как преступления теперь разрешено приписывать только неправильному общественному устройству. Но как же мог бы кто-то действовать иначе, чем предписывает ему его наследственность? И эта наследственность, в свою очередь, сама опирается на бесчисленные последствия причин и следствий...»

О «трагической» биографии Гитлера можно было бы говорить, если бы Гитлер с его «движением», по крайней мере, до 1933 года думал о немцах, как о народе свободных людей и об оздоровлении этого народа, если бы он с самого начала не жаждал спрессовать немецкое население в повиную ему массу: «Фюрер, приказывай! Мы последуем за тобой», так же, как в нашу эпоху сделал бы любой партийный вождь, если бы его партия стала подавляющим большинством. С 1919 года в Германии, а как в других странах Европы и как позже также в Северной Америке, народ все больше превращался в массу, что можно объяснить, среди прочего, отсутствием появления потомства у столь многих хороших, порядочных, патриотически настроенных людей, погибших на войне. Эти процессы образования масс были замечены политиками всех направлений, использовались многими из них, и Гитлером в их числе. Теперь из народа снова и снова будет получаться масса, как только в населении преобладает дух больших городов. Но ни один самый способный, самый энергичный государственный деятель не сможет хоть когда-нибудь превратить массу обратно в народ. Сегодня, после того как во Время второй мировой войны снова погибло, не оставив потомства, так много хороших и патриотически мыслящих молодых людей, настоящий «народ» в городах Европы, и прежде всего в городах Германии и Англии, можно найти лишь как отдельных, даже живущих обособленно людей, в деревне — только лишь среди оставшихся более пожилых людей.

Если Гитлер действительно стремился к «народной общности», то есть, не только к концентрации одной массовой партии, которая, впрочем, после «захвата власти» при недостатке в настоящем «народе» образовалась бы почти самостоятельно, то он как раз из-за этой «доброй воли» пал

бы жертвой роковой ошибки и должен был бы называться «трагической фигурой». Но для настоящих народных общностей после Первой мировой войны в Европе и Северной Америке было уже слишком поздно. «Народность», народный дух, по словам упомянутого выше Фердинанда Тенниса, во всех этих странах вымирает вместе с остатками настоящего крестьянства, и сегодня уже само слово «народность» для большинства городских молодых людей в этих странах кажется плохой шуткой твердолобых «вечно вчерашних», в лучшем случае, безвкусной мечтой устаревших романтиков.

Когда я в более поздние годы, примерно в 1950 году, задумывался о пережитом мною — что происходило, впрочем, нечасто, — я тоже спрашивал себя: не поддались ли сам Гитлер массе после «захвата власти» весной 1933 года и не отдался ли он, опирающийся на волю масс, весной 1939 года характеризующей столь многих политиков «воле к власти»? Но и до и после Гитлера снова и снова подтверждалось: тот, кто обращается к массам, сам станет жертвой духа масс, который уже привел к «крушению» Элладу и Рим.

## **19.**

Но с моей стороны было бы несправедливо, если бы я умолчал, сколько любви, даже чрезмерной любви проявлял немецкий народ к человеку Гитлеру — именно любви, а не только массового одобрения. Об этом я подробнее хотел бы рассказать ниже.

В ноябре 1944 года после бомбежек Фрайбурга, когда мой университет превратился в пыль, мы по железной дороге, движение по которой все время прерывалось из-за опасности бомбардировок, добрались до Веймара, где смогли разместиться в доме Шульце-Наумбурга. Я уже во Фрайбурге более или менее прошел «обучение» в Фольксштурме, однажды даже был расквартирован в школе для боевого использования. Я считал провозглашение этого Фольксштурма ошибкой, так как теперь и враг должен был знать, что Германия стоит на грани краха. Фольксштурм, увиденный мною, был «последним призывом», который не мог напугать вражеских солдат. В Веймаре мое обучение продолжалось, пока американцы не стояли уже где-то около Фульды. Теперь нас, призванных ополченцев, с помощью «бегунка» — почта и телефон уже были разбомблены — вызвали для получения обмундирования в зал Ваймархалле. Там лежала большая куча поношенных мундиров, из которой каждый должен был выбрать один для себя. Я искал и искал, надевал и снимал, и находил предметы форменной одежды в становившейся все меньше куче слишком тесными и маленькими для меня. Они были рассчитаны, пожалуй, на средний тюрингский рост. Наконец, фельдфебель послал меня домой, сказав, что в ближайшие дни привезут форму больших размеров.

Так и произошло: примерно пять или семь дней спустя меня вместе с другими снова вызвали для получения обмундирования. Я шел к залу, когда по дороге мне встретились более или менее довольные выглядевшие горожане, которые кричали мне на веймарском диалекте: «Товарищ Гюнтер, идите домой! Все заканчивается; нас отправили назад». Я пошел с этими товарищами домой. При этом не прозвучало ни одно слово насмешки и ни одно ругательство в адрес

Гитлера. Американцы продвинулись до Эрфурта, но скоро вошли в разбомбленный Веймар. За некоторое время до их вступления мы, ополченцы, должны были к западу от Веймара еще копать противотанковые ловушки; но работали мы немного, такие противотанковые ловушки все равно не задержали бы врага, вместо этого мы больше разговаривали о близком конце войны. При этом, однако, не прозвучало ни одного замечания против Гитлера, хотя, казалось бы, это напрашивалось само собой.

Через несколько дней после занятия Веймара американцами в дверь виллы Шульце-Наумбурга позвонили. Когда двери открыли, вошли три рослых светлых американских офицера, за ними один маленький смуглый солдат. Офицеры выдвинули вперед этого маленького, который с неподражаемым швабским акцентом сказал нам: «Собирайте ваши манатки и уматывайте!». Один из офицеров, заметивший наш испуг, сказал по-немецки: «Мы не грабим», потом объяснил уже по-английски, что через два-три дня вилла будет конфискована для расквартирования в ней офицеров.

Так нам пришлось распределиться по разным домикам в Обервеймаре, семья Шульце-Наумбургов в двух, моя жена с дочерьми у одного фотографа; меня приняла в маленькую комнатку на чердаке жена одного министерского чиновника, которого раньше как одного из обмундированных ополченцев Фольксштурма уже отправили в направлении Фульды. Спустя годы я узнал, что этот чиновник погиб в одном из последних боев.

Однажды вечером я сидел с женой этого чиновника перед радиоприемником на первом этаже домика, когда адмирал Дёниц, которого Гитлер ранее назначил своим наследником, сообщил о конце Гитлера. Женщина принялась безудержно плакать, настолько убитая болью, что я без-

молвно сидел рядом и внутренне защищался от упреков, обвинявших меня в том, что я не могу разделить эту боль. После долгого плача женщина, всхлипывая, произнесла: «Если это узнает моя племянница, которая всегда так любила Гитлера!» Племянница, усердная руководительница в БДМ (Союзе немецких девочек), вероятно, сейчас была в Восточной Пруссии: «Если она это узнает!» Я, прежде чем подняться в мою комнату на чердаке, сказал женщине несколько тихих слов, которые должны были ее успокоить и унять. Я был настолько потрясен и смущен такой ее болью, что даже не мог ей сочувствовать.

Впоследствии я часто брал большую корзинку, чтобы раздобыть где-нибудь старый картофель или другие более или менее подгнившие продукты для семьи Шульце-Наумбург и моей семьи. При этом мне приходилось долго стоять перед магазинами, всегда среди веймарских домохозяек и нескольких пожилых мужчин. Я никогда в таких случаях не слышал ругани в адрес Гитлера. Все жители и жительницы Веймара, были они в партии или нет, должны были работать в лагере Бухенвальд один день в неделю, мужчинам было под 65, женщинами под 60 лет. Нас везли туда и обратно в товарных вагонах. Так помимо возможности получить достаточное количество поставляемой американцами еды у нас была возможность сделать выводы о том, сколько много наврали об этом лагере.

На обратном пути одна дама среднего возраста, единственная женщина в плотно набитом людьми товарном вагоне, нашла чурбан для сидения, в то время как мы, мужчины, стояли. Во время поездки она с перерывами три или четыре раза кричала нам, мужчинам: «Вы обязаны всем этим вашему фюреру Адольфу Гитлеру». Каждый раз мужчины, среди которых, наверное, были также и беспартий-

ные, молчали, как будто ничего не слышали. Дама эта была балетмейстером национального театра, как я услышал после поездки.

Когда я узнал, что в Йене грузовики с громкоговорителями успокаивали население, что русские, мол, не войдут в Тюрингию, я этому не поверил. Я спрашивал американских офицеров, которые отвечали мне кратко, но вполне вежливо: „*Military secret*“ (Военная тайна). Я спросил двух часовых, стоявших на посту, один из солдат сказал: «*We don't know*» (Мы не знаем). Наконец, в одно солнечное весеннее воскресенье во второй половине дня на одной улице в Обервеймаре, откуда открывался широкий вид на тюрингский пейзаж, я встретил двух американских солдат и спросил: «Когда придут русские?» Один ответил, назвав дату, до которой оставалось три дня. Другой солдат поглядел на пейзаж и сказал себе под нос, но внятно: «*Poor Thuringia!*» («Бедная Тюрингия!»)

Теперь я знал достаточно. Мы сложили «наши манатки», как говорил тот шваб, и отправились в путь к баварской границе в направлении города Пробстцелла.

Последовало путешествие по проселочным дорогам со всяческими инцидентами, в большинстве случаев автостопом, сначала даже на грузовике американской армии, до Мюнхена, путешествие, при котором мы помимо тягостного пережили и кое-что веселое, но не слышали ни разу оскорблений Гитлера, хотя мы и встречали как многих обнищавших немцев, так и оборванных солдат, бредущих на родину. Не ругали его и американцы. У меня неоднократно возникало впечатление, что их у себя дома настолько перекормили «пропагандой» против дьявольского Гитлера и проклятых немцев, что действительность в Германии стала для них чем-то вроде «перевоспитания». Мы в нашей по-

езде встречали только приветливых, готовых помочь американцев, помочь прежде всего моей жене и моим дочерям. Уже в Веймаре я разговаривал с американскими офицерами, один из которых даже прочитал программу НСДАП и нашел ее хорошей; его возражение состояло только в том, что Гитлер не придерживался этой программы. От Мюнхена мы двигались дальше, пересаживаясь с одного грузовика на другой, в Верхнюю Баварию, где мы теперь остановились в городке, который при прибытии американцев поднял бело-синий баварский флаг, но после плохого опыта с некоторыми солдатами оккупационной армии быстро снова спустил его через некоторое время. В этом городке я услышал об одном богатом крестьянине, усердном прихожанине, который после крушения — в надежде на благосклонность американцев? — снова и снова шумел, что, мол, всех нацистов нужно повесить на деревьях кверху ногами, *засовывая их головы в муравейник*. Помимо этого мы не заметили там никаких следов травли Гитлера и нацистов, зато, пожалуй, проявления разочарования американскими «освободителями». Через несколько недель один фабрикант, который хотел отправить грузовик в Штутгарт, пригласил нас поехать на этой машине. Так мы прибыли в Эинген, подождали там следующей машины и добрались — после прекрасной ночевки на великолепной вилле в Швеннингене — через Донауэшинген во Фрайбург. Близ Эингена проходила граница между американской и французской оккупационными зонами. Там у шлагбаума американские солдаты попросили меня, чтобы я объяснил возвращающимся домой немецким солдатам, какими окольными путями они должны были пробираться через леса по ночам, чтобы не попасть во французский плен. По дороге мы снова и снова получали в деревнях хлеб и яйца, но и тут никогда не слышали ни одного бранного



слова в отношении Гитлера, и нам никогда не задавали вопрос, были ли мы членами НСДАП. Во Фрайбурге меня искали уже французские солдаты, после того как один живущий по соседству драпировщик, бывший член НСДАП, который делал у нас светомаскировку, ради снятия с себя подозрений сообщил обо мне французам как о *крупном нацисте*. Так я в августе 1945 года попал в тюрьму, а через четыре недели был переведен в *Camp d'Internement*.

Травля нацистов и Гитлера началась лишь позже, когда такая травля могла уже служить для достижения благосклонности начальства. Тогда усердно старались писатели и газетные авторы, бесстыдство которых разоблачил Курт Цизель в своей книге «Потерянная совесть» (1958). Они стремились путем травли и ругани в адрес Гитлера заставить забыть о своих прежних одах ему — еще один пример, подтверждающий фразу Менандра: «Человек — уже сам по себе достаточная причина для печали». У некоторых немцев, будь они прежде национал-социалистами или нет, послевоенные события и поведение «победоносных» оккупационных войск удушили тогда последние остатки уважения к людям.

Но я повторю: Гитлера любили и после его смерти. Сегодня, в первую очередь в нижних сословиях, которым нечего бояться, можно снова и снова услышать: «Не все, что сделал Гитлер, было неправильно». Если бы я хотел рассматривать Гитлера как государственного деятеля, то должен был бы перечислить здесь его бесспорные внутриполитические и внешнеполитические достижения и успехи, в том числе также несколько внешнеполитических речей, в которых он «попал не в бровь, а в глаз», причем сделал это на своем превосходящем его противников остром языке дальновидного разума. Гитлер также уже предвидел закат

Великобритании, который и происходит сегодня. Впрочем, для такого предсказания во время войны Гитлеру уже не требовалось настоящего пророческого дара (*mantike, vaticinatio*), так как генерал Людендорф еще в июне 1937 года по поводу коронации короля Георга VI публично указал на «блистательный закат Англии», на прогрессирующее разрушение Британской империи.

Если мне нужно было бы привести пример того, что Гитлер не «сделал неправильно», я должен был бы еще раз похвалить разработанный выдающимся доктором А. Гюттом в Имперском министерстве внутренних дел «закон о предотвращении наследственных болезней у новорожденных», закон, созданный по американским образцам, но сформулированный лучше их, потому что правильнее продуманный. Я упоминаю этот пример, так как на протяжении уже нескольких лет один исследователь наследственности (генетик, евгеник), известный как ярый противник национал-социализма, рекомендует в своих устных и письменных выступлениях возобновление действия и расширение этого закона, исследователь, испуганный ростом тяжелых наследственных болезней в нашем населении. Между прочим я упомяну, что Католическая церковь также не находит Имперский конкордат с Гитлером «неправильным», раз уж она пытается придерживаться его вопреки воле населения. Но на этом я умолкаю, так как я собирался рассказывать только о моих впечатлениях о Гитлере как о *человеке*.

Во всяком случае, один высокопоставленный западный немец тоже уже предостерегал от того, чтобы не видеть в Гитлере ничего иного, кроме вырвавшегося из ада черта. Я после освобождения из лагеря для интернированных время от времени попадал в неловкое положение, когда в беседах с иностранцами, среди прочего со швейцарцами, пытался

ради правды немного сдерживать их похвалы в адрес Гитлера. Именно иностранцы в большинстве случаев не доверяли — сегодня это редкость — «общественному мнению», особенно если эта похвала или порицание провозглашались в чересчур рьяных повторениях.

## **20.**

Если я могу решиться на определенные выводы, проливающие некоторый свет на Гитлера как на государственного деятеля, то я мог бы довольствоваться общим обзором о готовящихся войну политиках, то есть, включая и Гитлера, и снова опираясь только на мои впечатления. Все эти люди были государственными деятелями тонущего в бесчестии века, который идет «навстречу варварству» — таким был заголовок книги, которую англичанин Ф. Дж. П. Вил написал против английского ведения войны, особенно против воздушной войны.

Так как эти государственные деятели были убеждены, что их внутривнутриполитические и внешнеполитические противники — мошенники, то они действовали согласно фразе эллинского поэта Эпихарма: «Против мошенников мошенничество есть весьма пригодное оружие». Большинство этих мужчин — я назову одно исключение — не знали или внутренне сопротивлялись тому, что Кант называл «моральным законом внутри нас». Все они — за одним исключением — не признавали морального закона над собой, хотя некоторые из них охотно представлялись христианами. В

зависимости от меняющихся обстоятельств они всегда делали только то, что казалось им политически целесообразным на ближайшее время.

Когда я листаю современных писателей, то спешно возвращаюсь назад, лучше всего к Шторму, Келлеру, Фонтане и Флоберу, к немецким и английским классикам, и еще дальше в прошлое, вплоть до Гомера. Так я несколько лет назад снова нашел в «Одиссее» это место:

*«Блаженные боги никогда не любят насилий,  
но они уважают право и законные действия людей».*

Я должен был себе сказать, что все эти упомянутые мужчины — за одним исключением — с большим или меньшим пренебрежением высмеяли бы такое наставление как «нереальное», как пустые слова для политических мечтателей. Для их, а значит, также и для Гитлера оправдания можно сослаться на «Горгия» Платона: «Трудно и достойно высокой похвалы, имея большую власть для того, чтобы делать несправедливости, прожить справедливо свою жизнь до конца». Аристид, сын Лисимаха, был способен на это. Также в такой связи можно вспомнить слова Пилада в «Ифигении в Тавриде»:

*«Мужчина, самый лучший, приучив свой дух к жестокости и, в конце концов, превращающий то, к чему он чувствует отвращение, в закон, по привычке становится жестоким и меняется почти до неузнаваемости».*

Для защиты Гитлера нужно особо добавить: какой мужчина с такой же силой воли и с таким же фанатизмом при

такой же полноте власти, по своему происхождению непри-  
вычный к начальственным позициям, не совершил бы нена-  
вистные гомеровским богам насилия? Как бы то ни было,  
Гитлер при этом не строил из себя христианина, как это  
делали Рузвельт и Черчилль, и как сегодня делает Джон-  
сон. Он не вел «крестовый поход». Если сегодня северные  
вьетнамцы совершают обычные в истории Восточной Азии  
военные преступления, то ужасы американского ведения  
войны совершают солдаты христианского вероисповедания.  
Наблюдатели могут спросить: «Как это совмещается с На-  
горной проповедью?»

Гитлер также никогда не опускался до уровня такого  
человека, как Рузвельт, который, тайком обсуждая с Чер-  
чиллем «крестовый поход», обещал своему народу, что не  
втянет его в войну, но затем с помощью нефтяного эмбарго  
намеренно поставил японцев в такое положение, в котором  
для них оставалось только нападение. Рузвельт, благодаря  
вскрытым американцами японским шифрам знал точное  
время воздушного налета на Пёрл-Харбор, но намеренно  
направил предупреждение о нападении, телеграмму коман-  
довавшему в Пёрл-Харборе адмиралу, обычной почтой,  
так что японские бомбы смогли потопить американские во-  
енные корабли с их офицерами и матросами. Вследствие  
этого Рузвельт добился того, что желаемая им «народная  
ярость» американцев потребовала войны. Преподающий в  
настоящее время (1968) в Кёльне американский историк  
профессора Стивен Т. Поссоны, которому удалось увидеть  
среди прочего записи переговоров Рузвельта с высокими  
американскими политиками в октябре 1940 года, подтвер-  
дил, что Рузвельт совершенно преднамеренно и с расчет-  
ливыми соображениями втянул убежденный в его миролю-  
бивых целях народ в мировую войну. Но Поссоны вовсе не

осуждает эту политику, так как считает ее уместной для его  
могущественной страны политикой великой державы, тем  
более что Соединенные Штаты не могли бы допустить ос-  
лабления Великобритании.

А на каком уровне стоял Черчилль, другой крестоно-  
сец? Черчилль сначала хвалил Гитлера, затем заявил, что  
Германия, мол, стала слишком сильна и ее нужно снова раз-  
громить. По воспоминаниям его личного врача, атомные  
бомбы на Хиросиму и Нагасаки Черчилля сначала еще  
«осчастливили», потом он с сожалением сказал о «чудесных  
годах войны», за которыми теперь должен был последовать  
«проклятый мир».

Черчилль одумался только после 1945 года, когда он  
пораженно заметил, что Советская Россия оказалась един-  
ственным победителем этой войны, которую он прославлял  
как «английскую войну». Тогда он и произнес, имея в виду  
Россию и Германию, свою отвратительную фразу: «Мы не  
ту свинью зарезали», — великий государственный деятель  
или, как полагал Аденауэр, «великий европеец»? Лейб-  
медик Черчилля сообщал, что его пациент еще пытался  
перед своей смертью свалить с себя вину за разрушение  
Великобритании. Рузвельт и Черчилль на американском  
военном корабле праздновали вступление США в войну  
в подобном богослужению действе с песней: «Вперед, сол-  
даты Христа!» Они, как и Гитлер, были государственными  
деятелями все быстрее катящегося к своей гибели века, го-  
сударственными деятелями без совести.

В этот век падения было одно исключение из правила бес-  
совестных политиков: норвежец Видкун Квислинг. Англича-  
нин Ральф Хьюинс восстановил честь этого честного человека  
в своей книге, посвященной жизни и деятельности Квислинга.  
*The Times Literary Supplement* (Литературное приложение к

газете «Таймс») обсудило эту книгу и сделало вывод: «Западные державы и прежде всего норвежцы — имеется в виду так называемое норвежское эмигрантское правительство — нуждались в козле отпущения за их собственную инертность (*sloth*) и трусость (*cowardice*) в течение прошедших лет. Они нашли этого козла отпущения, который так был им нужен, в Видкуне Квислинге». Затем они сделали его имя синонимом слова «предатель». Верящие газетам люди, прежде всего в Германии, все еще повторяют эту ложь.

Но Квислинг, которого я знал, был одним из самых достойных и самых безупречных мужчин своего времени, он был, как Цицерон писал о Катоне Младшем, *gravissimus atque integerrimus vir* (самый твердый и самый безупречный муж), а что касается клеветы, которую по-прежнему повторяет «мировая печать», то тут вполне справедливы слова Шекспира в его сонете 66:

*and right perfection wrongfully disgraced.*<sup>16</sup>

Я познакомился с Видкуном Квислингом во второй половине двадцатых годов в Осло на квартире одного норвежского майора, когда Квислинг и его отцовский друг Фритьоф Хансен основали Союз отечества (Faedrelandslaget), из которого позже образовалась национальная партия «Nasjonal Sämling» («Национальное единение»). Моя жена, которая знала Квислинга со своей родины — семья Квислингов принадлежала к почтенному крестьянскому роду в провинции Телемарк — и я были приглашены на вечер в узком кругу, к которому принадлежали также два сотрудника Квислинга.

16 «И истинное совершенство, несправедливо опозоренное», в классическом переводе Маршака: «и совершенству ложный приговор»

Квислинг был молчуном, как Вильгельм Оранский и Мольте. Но чтобы убедиться в его сущности, его слова и не требовались. Когда мы были представлены друг другу и, стоя напротив друг друга, обменялись несколькими любезными приветственными словами, я немедленно ощутил сильный тип этого мужчины и должен был сказать себе, что он никогда не сделал бы ничего, что — словами Шекспира — не было бы «согласно с честью»: *within the eye of honour*.

О чем тогда говорилось в вечернем кругу, я в деталях уже не помню. Упоминался Союз отечества и обсуждалась его работа и цели. Позже, когда я услышал о правлении Квислинга, то лишь подумал, что Квислинг показался мне слишком хорошим для государственного деятеля нашего времени, а именно, вероятно, недостаточно ловким, чтобы вести переговоры с противостоящими ему мошенниками.

После этого я больше не встречал Квислинга до апреля 1941 года, когда он пригласил меня, как и многих других, на одно — впрочем, скучное — заседание во Франкфурт-на-Майне. После заседания Квислинг, впоследствии норвежский премьер-министр, пригласил меня, так как ему был выделен бензин, поехать с ним к Заальбургу, находящемуся выше Бад-Хомбурга, потому что он хотел познакомиться с этим укреплением времен Римской империи. В поездке мы говорили по-норвежски, также и для того, чтобы водитель машины нас не понимал. Квислинг был еще молчаливее, чем прежде. Размышлял ли он, знаток России, уже тогда об опасностях войны с Советской Россией?<sup>17</sup> Мы поднялись на земляные валы римского лагеря. Квислинг, бывший офицер и министр обороны, написавший, еще будучи офицером, одну из лучших работ норвежского генерального штаба, рассма-

17 Обе жены Квислинга были русскими — прим. перев.

тривал дислокацию на холмистой местности, подобно тому, как римский офицер, *magister militae*, проверял безопасность лагеря. Мы купили еще несколько копий римских кувшинчиков для масла, прежде чем вернулись во Франкфурт.

И как раз к этому достойному и безупречному мужчине Гитлер послал в качестве своего представителя и представителя Германии одного из отобранных им недостойных людей, бесчестного интригана, который, по-видимому, очень хлопотал, чтобы Гитлер повысил его до чего-то вроде гауляйтера Норвегии<sup>18</sup>. Затем он, получая «советы» от врагов Германии, вероятно, также клеветца Гитлеру на Квислинга, отодвинул того в сторону, пока сам не взял в свои руки фактическую власть в Норвегии. Теперь благодаря посланцу Гитлера и к радости союзников, которые желали как раз этого, начались преследования норвежцев, в том числе и расстрелы, которые Квислинг больше не мог предотвратить. Произошла бессмысленная ссылка студентов из Осло в лагерь в Верхнем Эльзасе.

Конец Квислинга известен. Но мало кому известно, что возвратившееся «эмигрантское правительство» еще в Лондоне подготовило закон обратного действия, так как в Норвегии смертная казнь уже давно была упразднена.

Гитлер в Берлине в политических беседах неоднократно сталкивался с наилучшим из норвежцев, как моя полностью аполитично судящая жена называла Квислинга. Неужели он никогда не чувствовал, кто стоял напротив него? Отсутствие знания людей? Злонамеренность? Неопределенное, но надоедливое, неприятное для него чувство стоять напротив мужчины, по-человечески превосходящего его?

То, чего у Ибсена слабым способом попытался достичь Росмер на Росмерсхольме и в чем он трагическим образом

18 Имеется в виду Йозеф Тербовен — прим. перев.

потерпел неудачу, этого можно было ожидать от Видкуна Квислинга энергичным способом: собрать вокруг себя «радостных аристократических людей» (*glade adelsmennesker*) как своих ближайших подчиненных, образец для норвежского народа. В этом смысле моя аполитичная жена называла Квислинга наилучшим из всех норвежцев.

Как пример выбора Квислингом подчиненных я приведу только благородного Рагнара Сканке, профессора Высшей технической школы в Трондхейме, министра образования в правительстве Квислинга. В 1945 году суд мести приговорил его к смерти, и спустя три года Сканке был казнен, несмотря на то, что более семисот священников и профессоров подавали ходатайства об его помиловании. Первое отделение выделенных для расстрела солдат отказалось стрелять; второе из негодования стреляло настолько плохо, что Сканке был только ранен. Выстрел в затылок убил его, наконец.

Платон после казни Сократа назвал того «самым праведным из живущих тогда людей». Так же и норвежцы, когда их молодежь одумается, смогут прославить Видкуна Квислинга, мужчину и вождя, *integer vitae scelerisque purus* («беспорочной жизни и незапятнанного преступлением») (Гораций).

## 21.

Будущая историография, та, которая еще не растворится в социологии или политологии или в психоанализе, должна

будет ретроспективно поставить Адольфа Гитлера на его место в истории заката свободы отдельного человека. При Гитлере возросло то, что сегодня называют «коллективизацией».

В социализме Ницше опасался «самой верноподданнической покорности всех граждан абсолютному государству». Но Гитлер пытался соорудить такое «абсолютное государство», полностью индустриализованную и социализованную Германию совершенно унифицированной, однородной массы.

Хоть и явно заметно, но вполне объяснимо, что противники Гитлера всегда ругали его за его национализм, но никогда за его социализм. Однако Гитлер отнюдь не использовал социализм как вывеску, а действительно был социалистом во всем. Он должен был знать, что будущее, по меньшей мере, индустриализируемых государств принадлежит социализму. Это высказал еще до рубежа веков уже упомянутый мною выше Гюстав Лебон: средняя Европа и Западная Европа жили в одном из немногих периодов свободы; но из-за социализма им уже угрожала следующая эпоха несвободы и государственного принуждения. Так что для социализма и для влекомого судьбой Адольфа Гитлера справедливы слова Сенеки: *ducunt volentem fata, nolentem trahunt* — желающего судьба ведет, нежелающего тащит.

Будущее человеческого вида, судьба нас всех определяется социализмом, который также и в его «национальных» формах через свое «как можно больше государства» и следующую из этого предсказанную Гербертом Спенсером «сверхрегуляцию законами» (*overlegislation*) проведет в Европе и Северной Америке и оттуда уже среди всех народов земли огосударствление человека, но вместе с тем и вымирание человеческой породы со свободой отдельного

человека. Весной 1801 года Фридрих Гёльдерлин писал своему другу: «Все же, в конечном счете, справедливо: чем меньше человек узнает и знает о государстве — какова бы ни была его форма — тем более он свободен». Так думали многие из отцов-основателей американской республики, но в первую очередь ее третий президент Томас Джефферсон. Фразу Гёльдерлина, которую вполне можно приложить к истинно германской республике исландцев, в будущем будут приводить, однако, как пример преступного вздора глупца, и социалист Адольф Гитлер тоже понял бы ее именно так. Гитлера, похоже, никогда бы не привлекло представление постаревшего Фауста — взятое Гёте из трудов Юстуса Мозера и использованное им уже в «Гётце фон Берлихингене»:

«Стоять на свободной земле со свободным народом».

В соответствии с истинно социалистической точкой зрения в государстве Гитлера больше не должно было быть никаких «неорганизованных», то есть никаких свободных людей, способных самостоятельно определять свою судьбу. Каждый человек, будь то мужчина или женщина, должен был принадлежать какой-нибудь национал-социалистической группе. В Национал-социалистическом союзе писателей, как и в других «организациях», были подгруппы, по которым распределялись их члены, так, например, группа «Лирика». Лириков, если они занимались как раз не созданием туристических или застольных песен для мужских хоров, не так уж легко «организовать». Итак, всюду истинно социалистическое «как можно больше государства»! Народ перегруппировывался в массу. Однако, по мнению Вальтера Мушга, это-то как раз и совпадало со стремлени-

ем людей массы, которые сами хотели, чтобы их освободили от самостоятельных решений.

Но я сам понял это постепенно только с пятидесятых годов, только после того, как я из хаоса предшествующих 20–25 лет через размышления о политическом и духовно-историческом процессе снова пришел к самому себе, который, как я теперь понимал лучше, по своему предрасположению устарел с 1919 года в сравнении с моей собственной эпохой. Английские жизнеописания подчеркивают, что — почитаемый мною больше за основные черты его характера, чем за поэзию — поэт Перси Шелли (1792–1822) связывал возвышенный смысл свободы с безграничной терпимостью. В этой черте, я полагаю, меня можно сравнить с английским поэтом. Но вместе с тем я также должен был с пятидесятых годов понимать, что для меня как свободолюбивого немца эпоха, к которой я принадлежал и принадлежу по моему предрасположению, закончилась уже в 1919 году, и что я только внешне могу приспособляться к эпохе концентрации масс и соответствующих диктатур.

У людей с предрасположением Байрона, Шелли или леди Эстер Стенхоуп, как у людей с предрасположением Карла Шурца или Готтфрида Кинкеля, то есть тех, для кого свобода отдельного человека это одно из наивысших благ, между чувством свободы и патриотизмом может возникать такая напряженность, которую больше не выдерживает патриотизм. Но эпоха западной свободы отдельного человека, которая была открыта древними греками, в 1918 году закончилась для всей Европы и вскоре после этого также и для Северной Америки.

Это с печалью выразил базельский историк литературы Вальтер Мушг в своей речи к Шиллеровскому празднику 1959 года: «Шиллер: трагедия свободы» (1959). Он

показывает в этой речи, что свободе отдельного человека сегодня угрожает подавление вовсе не только в «тоталитарных» государствах, но и в прежде свободной Швейцарии.

«Мы окружены шляпами Гесслера, что никого не раздражает. Сегодняшнее человечество больше не знает, что такое свобода, да оно больше и не хочет этого знать. Оно хочет комфорта, легкого наслаждения жизнью за цену бюрократического принуждения, которую послушно платит. Воля к свободе была заменена желанием несвободы, освобождения от бремени самостоятельного решения. Из этого желания отдельных людей и целых наций возникают открытые и завуалированные формы диктатуры. Такова наша ситуация».

Но одновременно это конец той германской свободы, которую «Эдда» выразила таким образом: «Ты сам должен руководить собой самим!», аналог сегодня тоже забытого в Германии «мужчина сам себе хозяин», что еще отличало век крестьян и ремесленников.

Бенджамин Франклин, один из соучредителей американской республики, который с двенадцатилетнего возраста из бедности благодаря уверенности в себе, мужеству и таланту пробивал себе дорогу к государственному деятелю, а благодаря самообразованию — к ученому-натуралисту, однажды осудил малодушие таких сограждан, требовавших от только что основанной республики прежде всего страховки перед каждой возможной неудачей, такими словами: «Те, кто готов пожертвовать насущной свободой в обмен на то, чтобы получить временную безопасность, недостойны ни свободы, ни безопасности». (*They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.*). Слепое требование гарантированной законом безопасности превратит государство, в

конечном счете, в задыхающееся под гнетом параграфов, забюрократизированное учреждение соцобеспечения, в такое учреждение соцобеспечения, «самым прогрессивным» примером которого может считаться нынешнее шведское государство. Там безопасность и свобода якобы образцовым способом связаны друг с другом. Но большинство городской молодежи Швеции истолковывают эту «свободу» как необузданность, даже бесстыдство, а меньшинство еще мыслящих патриотически шведов, свобода которых притесняется большинством, называет это государство учреждением опеки. Во внутренних процессах и в душевном опустении некогда свободной и благородной Швеции можно увидеть, однако, будущее большинства государств Европы и Северной Америки.

В историю заката открытой элитами, вымирающей в Римской империи императорского периода с остатками *nobilitas* и затем оживленной германцами западной свободы отдельного человека нужно зачислять любой тип социализма, таким образом, также и Гитлера с его национал-социализмом. Гитлер между 1933 и 1945 годами ускорил процесс этого заката; однако сам этот процесс продолжится в индустриализируемых и урбанизируемых странах вплоть до полного огосударствления человека, до *истэблишмента*, чего ни одно из этих государств не сможет избежать.

Только при таком взгляде на гитлеровский социализм с широкой исторической перспективой можно понять воздействие Гитлера. Но как мог бы вчера и как сможет завтра ожидать успехов государственный деятель, который каким-то образом не действует «в духе времени», а это значит: по-социалистически?

Свобода отдельного человека в Европе и Северной Америке погибает не только с гитлеровского времени. Уже

раньше, как я предположил бы, началось вымирание свободно настроенных семей. Девизом свободных всегда будет: «Мужчина сам себе хозяин». Такой девиз в урбанизируемых и забюрократизированных государствах станет скандальным нарушением норм и только навредит свободному человеку. Уже Теодор Хойс, выросший в еще «либеральный» век, однажды говорил о «бесчеловечности» забюрократизированных государств социального обеспечения. Как быстро исчезла свобода отдельного человека в такой свободной прежде Англии! Сегодня многие свободолюбиво настроенные англичане эмигрируют — в Канаду, в Австралию и Новую Зеландию, где еще сохранилось кое-что от *liberty* более ранних времен.

Огосударствление человека побеждает неудержимо. В Германии при Гитлере существовала «государственная молодежь», которая должна была содействовать всеобщей равной заурядности; но любая ставшая всемогущей партия ввела бы что-то подобное. Англия начала огосударствление человека с огосударствления врачебного сословия. Молодежь, шумно демонстрирующая на улицах и портящая материальное имущество, выступая против всяческих настоящих или мнимых «бесчеловечностей», сама, со своей стороны, принадлежа массовому духу, следует за таким представлением о свободе, которое только впутывает ее в еще большую несвободу. Состояние забюрократизированного государства соцобеспечения, его *overlegislation*, как обозначил это Герберт Спенсер, безрассудная молодежь, отученная от родного языка, называет *истэблишментом*, но требует взамен него еще большего *истэблишмента*, прежде всего, однако, еще больше параграфов, которые должны послужить тому, чтобы лишить прав инакомыслящих. С 1789 года большинство привыкло к тому, чтобы через



законы лишать меньшинства их свободы; вследствие этого нужно было якобы достичь «братства». Так эта молодежь по недомыслию утратит возможности достойной свободы; так как достойную свободу должна определять фраза Гёте: «Всё, что освобождает наш дух, но не даёт нам власти над самим собой, пагубно». Достойная свобода, как требовал ее Катон Младший, — это задача, решить которую куда труднее, чем могут представить себе большинство людей, как молодых, так и старых. В своих достойных похвалы «Афоризмах» (1879) Мария фон Эбнер-Эшенбах писала: «Насколько далеко простирается твоя способность повелевать собой, настолько далеко простирается и твоя свобода».

То, что так сформулировали Гёте и Мария фон Эбнер-Эшенбах, было понято уже стоиками, и такое понимание свободы повторил также Лейбниц: «Мы тем свободнее, чем больше мы поступаем сообразно рассудку, и тем больше поработаны, чем больше поддаемся страстям» (*eo magis est libertas quo magis agitur ex ratione, eo magis est servitus quo magis agitur ex libidine*). Я остановлюсь на этих рассуждениях еще и потому, что должен буду высказать еще кое-что об идее свободы в этой книге, и потому, что сегодня некоторыми представителями педагогики провозглашается как раз полная противоположность стоической свободе: у молодежи все зависит якобы, в первую очередь, от «неограниченного растормаживания». Понимает ли такое учение и под свойственными от природы чувством такта, чувством стыда и брезгливостью тоже «тормозящие препятствия»?

Достойная свобода могла бы исходить от Вольтера, но не от Руссо; для нас, немцев, в первую очередь, от Вильгельма фон Гумбольдта. Норвегия могла бы ожидать достойной свободы от Видкуна Квислинга. С 1789 года слово «свобода» как наименование недостойной свободы

провозглашают и выкрикивают на «демонстрациях» прежде всего те, которые немедленно воспользовались бы такой свободой для того, чтобы лишить инакомыслящих их свободы. Чем более революционно ведет себя партия, тем больше она, придя к власти благодаря фанатичным вождям и став, таким образом, могущественной массой, будет с помощью «прогрессивных» законов навязывать всем инакомыслящим свою волю. Приближение такого века тирании большинства для государств с парламентами, где доминирует большинство, Джон Стюарт Милль предвидел уже в середине девятнадцатого столетия. Так, наконец, и народный дух, который всегда зависит от существования крестьянства как истинно свободного сословия, постепенно будет задушен городскими массами. В эту историю заката свободы отдельного человека, то есть, собственно, настоящей достойной западной свободы из крестьянского ощущения, должен быть зачислен и Адольф Гитлер наряду с другими современными ему политиками индустриализируемых, урбанизируемых народов.

Первым, кто указал в Германии на угрозу заката свободы, был друг Шиллера Вильгельм фон Гумбольдт в его написанной зимой 1791/1792 годов работе «Мысли о попытке определить границы действий государства». Первыми в Англии были Джон Стюарт Милль и Герберт Спенсер, первыми французами Алексис де Токвиль и Гюстав Лебон, которого я упоминал. Уже Милль и Спенсер предостерегали о грядущем веке притеснения отдельного человека тем, что Ибсен с содроганием называл «компактным большинством». Но всякая история заката западной свободы должна была бы привести много смягчающих обстоятельств в пользу Гитлера, факты возрастающей плотности населения, упадка — по своей сущности — свободного крестьянства,

урбанизации и индустриализации и, наконец, также вымирания и эмиграции свободно настроенных семей — и нельзя забывать угрозу для любой человеческой свободы со стороны большевизма, превратившегося в сталинизм.

Но что же было осуществлено после 1945 года по всему миру в «мировой политике» теми государствами, которые утверждали, что боролись против Гитлера за свободу и христианство, причем как во внутренней, так и во внешней политике? Вся Земля теперь «буйный сад, плодящий одно лишь семя; дикое и злое в нем властвует». («Гамлет», I, 2). Внутренняя политика большинства стран лучше всего характеризуется шекспировским сонетом 66. В первую очередь, в «освобожденных от колониализма странах» многие понимающие и встревоженные люди могут сегодня повторить слова Шекспира («Генрих IV», часть 2, III, 1): «О Господи, когда б могли прочесть мы Книгу судеб, увидеть, как время в своем круговращенье сносит горы... Закрыл бы книгу он и тут же умер».

Но «державы-победительницы» 1945 года, державы свободного Запада, обещали народам всего мира, что после разгрома проклятых немцев, после казни немецких «военных преступников» последует эра взаимопонимания, терпимости, мирного благосостояния, любви к ближнему, так как новый Нюрнбергский суд угрожал бы каждому агрессору.

Если всемирная история, по мнению Шопенгауэра, это не что иное, как «долгий, тяжелый и запутанный сон человечества», то у немцев после 1919 года этот сон был еще запутаннее, чем у англичан при Черчилле и его преемниках, чем у американцев при Рузвельте и его преемниках. Для американцев судьбой стал Рузвельт, для англичан Черчилль, для немцев Гитлер. Но я, оглядываясь назад сегодня (1968), не могу сказать, что судьба была к американцам и

англичанам более благосклонна, чем к немцам. Из любви многих немцев к Адольфу Гитлеру я, в отличие от «перевоспитанных» газетных писак, не могу сделать вывод, что немецкий народ, мол, политически незрел в сравнении с другими народами; что его молодежь с помощью «обществоведения» и «политологии» нужно воспитывать до нужной зрелости. Снова и снова народы — особенно урбанизированные, отчужденные от органического, крестьянского мышления — будут расплачиваться за ошибки своих заблуждающихся лидеров: «*Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi*» «Что б ни творили цари-сумасброды (Агамемнон и Ахилл), греки страдают». (Гораций).

Сегодня американцы и англичане размышляют над этой истиной с большей горечью, чем немцы. Британская империя была бы еще сегодня целой, если бы король Эдуард VII не занялся ведущим к войне окружением Германии в согласии со сменяющимися правительствами в его родной стране и за рубежом. Недавно (1967) Вильгельм Ладевиц снова охарактеризовал эти военные планы. Английский историк Дж. А. Фаррер назвал германофобскую деятельность короля «гарантированным посевом мировой войны». «*Quidquid delirant reges....*» Меньшинство еще патриотически настроенных англичан в замешательстве задумается над заголовком вышеупомянутой итальянской книги «Люди и руины».

Это меньшинство, если оно задумается над тем, как английские государственные деятели дважды втянули их государство в войну против Германии, осознает правду сентенции, высказанной Гаем Саллюстием («Югуртинская война»): «В большинстве случаев это и приводит к падению великих государств, поскольку одни хотят любым способом побеждать других и беспощадно карать побежденных». В

«Учении о расах Европы» (третье издание, 1929 год) я изложил то, что Гитлер мог бы узнать из уже упоминавшейся выше книги Баура, Фишера и Ленца: «При ведении войны сегодня и еще в гораздо большей степени завтра вряд ли еще можно думать о «цене победы», которая уравновесила бы связанный с войной отрицательный отбор» — отрицательный отбор из-за непропорционально высоких потерей офицеров и солдат самого лучшего предрасположения и образцового образа мыслей, и тем самым вымирания так многих незаменимых семей с хорошей наследственностью. Баур, Фишер и Ленц приводили доказывающие это цифры. После поражения под Сталинградом Гитлер должен был бы вспомнить об этих цифрах. Но, похоже, что уже тогда «лекарства» его лейб-медика начали действовать.

Если Гитлер в Ландсбергской тюрьме прочитал в труде Баура, Фишера и Ленца рассуждения и цифры о страшном падении способности народа к рождению многочисленного и качественного потомства в результате войн нашей эпохи, то он, вероятно, был единственным среди политиков Второй мировой войны, который знал о таких последствиях войны. Но задумывался ли он когда-нибудь об этих последствиях? Я сильно испугался, когда примерно шесть лет назад прочел предостерегающие слова, с которыми генерал Людендорф в Мюнхенском штабе корпуса 30.3.1937 обратился к Гитлеру во время беседы, которая была проведена по безотлагательному желанию командования сухопутных войск: «Я же очень серьезно предостерегаю вас от того, чтобы вы начали войну. Мы вообще должны держаться подальше от любых военных осложнений. Для Германии может приниматься в расчет только оборонительная война, в ином случае лишь строгий нейтралитет. Новой армии так или иначе понадобятся еще годы, пока она сможет выполнить эту задачу.

После всего, что я узнал о создании нового вермахта, вам может быть обеспечен большой успех в начале войны. Может даже быть, что вы дойдете до Каира и Индии. Но последующая война приведет к полному поражению. На этот раз Соединенные Штаты вмешаются в совсем другом масштабе, и Германия будет, в конце концов, уничтожена». (Эрих Людендорф, «Мои воспоминания о жизни», т. 3, стр. 164/65)

Между тем уже стало широко известно, что Йоахим фон Риббентроп как знаток британской политики неоднократно призывал Гитлера понимать британскую гарантию Польше как очевидное решение Великобритании о войне. Смог ли бы Гитлер еще тогда уклониться от войны?

При посредничестве русского царя в Ольмюце (Оломоуц, Моравия) в ноябре 1850 года было достигнуто соглашение между Австрией и Пруссией о взаимном разоружении и о предотвращении войны, соглашение, которое обозначалось «малогерманской» историографией (Зюбель, Трейчке) как унижение Пруссии, а в прусском народе тогда называлось «Ольмюцким позором». В то время Бисмарк, который был проинформирован как о недостаточной готовности распределенных по широкой территории прусских войск, так и о закончившемся развертывании австрийской армии, обладая государственным умом и предвидением, посоветовал ради предотвращения войны решить конфликт соглашением. Могли ли помимо Риббентропа также и другие советчики посоветовать Гитлеру пойти на новый «Ольмюц», отступить перед указанными ему Людендорфом опасностями? Я, впрочем, исходя из моих впечатлений, не считаю покорное и не имеющее своего мнения окружение Гитлера способным на такое. Но не заметил ли Гитлер, однако, и сам, какую засаду устроили ему лорд Галифакс с польским

полковником Беком? Так Гитлер поставил на карту все, что выиграл до 1939 года, и проиграл эту игру для Германии. Впрочем, «Ольмюц», во всяком случае, легче удастся королю, чем диктатору, и Бисмарку легче, чем Гитлеру.

Все же и это — соображения, к которым я пришел лишь спустя двадцать лет после смерти Гитлера. Они, таким образом, уже не относятся к моим «впечатлениям», но это вопросы, на которые должны ответить будущие исследования.

Сегодня ставшее очевидным падение столь сильной прежде способности к рождению многочисленного и высококачественного потомства у американского населения началось с того, что на войне Северных штатов против Южных штатов (Гражданская война 1861–65 годов), войне, принесшей огромные потери, Северные штаты планомерно опустошали Южные штаты, изгоняли семьи землевладельцев, чтобы принудить также экономически более слабые Южные штаты к безусловной капитуляции (*unconditional surrender*). Последствием ведущейся обеими сторонами с ожесточенной смелостью войны было также вымирание замечательных семей Южных штатов, которые до того времени давали самых выдающихся государственных деятелей как Югу, так и Северу. Однако притеснение населения в Южных штатах продолжалось еще в течение долгих лет и после заключения мира, что вызвало безбрачие, малую рождаемость и последующее вымирание. Боеспособность неподготовленных перед войной армий обеих воюющих сторон так никогда больше и не была достигнута Соединенными Штатами. Южные штаты поставили во главе своих войск генерала Роберта Ли, истинного аристократа, самого выдающегося полководца американской истории. Впоследствии ни Южные, ни Северные штаты не смогли создать армии такой смелости. Часть этих событий Гражданской

войны стала известна в Европе только благодаря роману Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» (*Gone with the Wind*). Из государственных деятелей последующего времени никто, по-видимому, не был в состоянии извлечь из истории этой страшной мстительной войны уроки, на которые я указал, ссылаясь на Саллюстия.

Обусловленный наследственностью состав населения Северной Америки после войны стал не таким, как раньше. Так и Эллада, в особенности Спарта, после Пелопонесской войны также была населена уже иначе, чем до нее. Тот, кто только задумается о взаимном разрушении обоих великих народов германской языковой группы, английского и немецкого, должен будет повторить слова Лукреция Кара о злосчастном человеческом роде: *genus infelix hominum!* Лукреция его судьба тоже забросила в век упадка, в век утраченного человеческого достоинства.

## 22.

Как один урок из того, что я выразил в этом сочинении, я хотел бы провозгласить молодежи Европы, но прежде всего скандинавской и немецкой молодежи, слова Фридриха Шиллера, слова поэта, который подобно Гёте в ходе Французской революции узнал, как нельзя добиваться свободы:

«Достоинство человечества дано в вашу руку. Храните его! Оно падет с вами, с вами оно возвысится».

Я очень хорошо знаю: в век, который требует всеобщей и равной заурядности и который, как выразился швейцарец Вальтер Мушг, готов ради гарантированного законами сощобеспечения и безопасности, то есть страховки против каждой возможной неудачи, отказаться от любой свободы, который посему вообще больше не чувствует потребности в свободе, только лишь незначительные и поэтому невлиятельные меньшинства в Европе и в Северной Америке обратят внимание на напоминание Шиллера об истинной свободе, о свободе в человеческой чести. Шиллер, впрочем, столь же мало ожидал бы согласия от большинства, как и упоминавшийся выше афинянин Фокион. Тем не менее в век масс только способный на независимое мышление мужественный человек отважится присоединиться к «самой маленькой толпе».

То, что достойную свободу нельзя добиться Французской революцией, Шиллер с его неистовым свободолобием воспринял особенно мучительно. Она не принесла ни братства, ни чести человека:

*«Величие человеческой природы, должен ли я искать тебя в толпе? Ты издавна жило лишь только у немногих».*

Гёте, который с самого начала видел во Французской революции настоящую беду Европы, не доверял свободе, которой требовали городские массы Франции. В «Венецианских эпиграммах» (1790) Гёте высказался так:

*«Франции судьба печальна, пусть великие над ней задумаются, но, воистину, малые должны задуматься еще больше. Великие погибли, но кто же защитит толпу от толпы? Там толпа была тираном толпы».* «Все апо-

*столы свободы, они всегда претили мне, ведь каждый, в конечном счете, искал только произвола для себя».*

В «Беседах немецких эмигрантов» (1795) Гёте рассказывает об одном немецком князе, страна которого так много страдала от вторжения французских революционных войск, что тот познакомился «с произволом нации, которая говорила только о законе, и с духом угнетения тех, которые всегда повторяют слово «свобода»». Как раз это понимание Гёте снова выразил в «Заметках и очерках к Западно-восточному дивану» (1816): «Никогда больше нельзя услышать разговоров о свободе, когда одна партия хочет поработить другую». Он заставляет своего Мефистофеля в «Фаусте» II говорить:

*«Вы спорите, как говорят, о правах свободы;  
точнее присмотревшись, это холопы против холопов<sup>19</sup>»*

Холопы эти, хотел бы я добавить, это, в первую очередь, жажда власти и зависть.

Не присоединяясь к этим беспощадным приговорам обоих поэтов, я хотел бы все же попросить задуматься над высказываниями швейцарца Мушга, приведенными мною выше. Сегодня люди, для которых по их предрасположению возможны достойная свобода, свободное самостоятельное определение своей судьбы, стали редкими и в некогда свободной Швейцарии. Ни большинство, ни диктатуры не смогут воспрепятствовать тому, что в условиях нехватки способного к достойной свободе или хотя бы только стремя-

19 В переводе Пастернака: «Как будто бредят все освобождением, а вечный спор их, говоря точнее, — поработенья спор с поработеньем».

щегося к ней человека все государства постепенно превратятся в учреждения обеспечения существования несвободных «имеющих право на социальное обеспечение» людей. Боюсь, что Мушг окажется прав: сегодня для большинства людей свобода и свободное определение своей судьбы не имеют никакого значения. Таким образом, Гитлер тоже принадлежит к истории заката германской свободы отдельного человека, сущность которой я охарактеризовал выше, опираясь на труды двух признанных знатоков.

Западная свобода отдельного человека, открытая эллинами, погибшая в Римской империи, оживленная германцами, погибнет в двадцатом веке вместе с духом Запада. В искусствах уже сейчас прямо перед нашими глазами и ушами совершается этот закат западного духа.

## 23.

Но как, однако, можно было бы воплотить достойную свободу во всем народе? Сегодня, когда окружающая среда значит все, а наследственность не значит ничего, большинство ответило бы на это так: через воспитание и обучение, государственное обеспечение, «реабилитацию» заключенных вплоть до разрешения временных «увольнительных» из тюрьмы для сексуальных преступников и с помощью всяческих иных улучшений среды на службе «общественной реформе». Чтобы возразить таким мнениям и надеждам тут следует еще раз сослаться на требование жесткого про-

тивника национал-социализма, исследователя наследственности (генетика) профессора доктора Ганса Нахтсхайма. Профессор Нахтсхайм рекомендует бороться с ускоренно распространяющимися наследственными болезнями с помощью законов «для предотвращения наследственных болезней», которые, по его мнению, были отнюдь не нацистскими законами, а лучше продуманными и более тщательно сформулированными заимствованиями американских законов о здоровом потомстве. Учение Дарвина о «борьбе за существование», несмотря на все поправки, все еще понимается неверно в том смысле, что успешные, то есть, по мнению большинства людей, богатые, якобы выигрывают эту борьбу. Но победитель в «борьбе за существование» определяется только числом потомков, более многочисленным размножением. Уже на протяжении более ста лет как раз успешные люди в Европе и Северной Америке тем не менее в среднем рожают мало детей, зато у менее способных и успешных людей детей рождается намного больше. У учеников школ для отсталых детей в среднем больше всего братьев и сестер. Возвышение описанных успешных людей без самой важной внутренней их сущности никак не будет способствовать угрожающему сегодня «демографическому взрыву».

Также и воплощение достойной свободы в государстве может постепенно осуществляться в принципе только с самой основы, с наследственности. То государство, которое, закрыв свои границы от иммиграции страдающих наследственными болезнями людей, позволит тем, кто по своей наследственной предрасположенности способен к свободному принятию решений и к человеческому достоинству, после выбора соответствующего партнера по браку стать многодетными, а описанным Бенджамином Франклином

малодушным, которые по своим унаследованным свойствам не могут видеть в государстве ничего больше, чем учреждение всеобщего социального обеспечения, гарантирует право на бездетность, станет сильным государством настоящей свободы и чести даже при уменьшающемся населении. Все другие государства через огосударствление всех предприятий и всех людей побредут навстречу различным формам несвободы и потери человеческого достоинства — *genus infelix hominum!*

*Genus infelix hominum*, несчастный человеческий род? Вальтер Мушг возразил бы, что эти люди как раз и нашли свое счастье в том, чтобы стать освобожденными от свободного, самостоятельного определения своей судьбы, но добиться взамен этого гарантированной по закону безопасности для легкого наслаждения жизнью в забюрократизированном государстве социального обеспечения. Будущий человеческий род тогда полностью пренебрег бы словами Канта из «Критики способности суждения»: «Нетрудно догадаться, какую ценность имела бы для нас жизнь, если бы она ценилась только по тому, чем наслаждаются... Эта ценность опускается ниже нуля...».

История народа — как я стремился это доказать, прежде всего с «Расовой историей элинского народа» (второе издание, 1965) и с «Расовой историей римского народа» (второе издание, 1966) — всегда будет конфликтом соответствующей наследственности этого народа и его лидеров с соответствующей окружающей его средой.

Так как это познание вытекает из истории подъема и упадка великих народов и государств, то для государства основную роль играют прежде всего унаследованные качества его вождей, и то, что эти вожди как знатоки человеческой природы выберут своими ближайшими подчинен-

ными безупречных людей с хорошими наследственными свойствами. Сам по себе успех — в первую очередь, в политике! — никогда не гарантирует того, что такой успешный человек подходит для руководящей позиции, так как политически успешные люди всегда могут также быть при этом и людьми с низким образом мыслей и с бесчестными махинациями, особенно во времена разрушения. Для руководства в поднимающихся вверх государствах предназначены только те успешные люди, которые происходят — как Квислинг — из безупречных семей с доказанными на деле жизненными достижениями.

При безмятежном размышлении, что является, впрочем, одним из самых трудных заданий, призываемая к человеческому достоинству молодежь Запада не найдет смысла ни в мире, ни в человеческом существовании. Оба эти явления — это процессы в пространстве и во времени, происходящие под давлением многих причинно-следственных связей. Однако Генрих Риккерт (1863–1936) в своей «Системе философии», том I (1921) пришел к выводу, что толковать смысл жизни это значит осознавать те ценности, которые придают жизни смысл. Это та же самая цель, которую исповедует Шиллер, как и Риккерт, опирающийся на Канта:

*«Знайте: высший смысл вкладывает величие в жизнь, и он не ищет его там».*

К этому величию, которое не дано нам, но, пожалуй, нам поручено, относится также подчеркнутое Шиллером «достоинство человека» и востребованная им достойная свобода как две высших ценности, непосредственно составляющие вечную ценность истинного, доброго и красивого.